

АЛЕКСЕЙ КОТОВ



**СОЛДАТ,**

**РАССКАЗАВШИЙ  
НЕПРАВДУ**

# **Алексей Николаевич Котов**

## **Солдат, рассказавший неправду**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=70602349](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70602349)*

*SelfPub; 2024*

### **Аннотация**

В детстве я слышал много рассказов о войне, и в них не было ничего парадного. Удивительно, но в них было и не так много самой войны... Уже теперь, спустя много лет, я смотрю на рассказы бывших фронтовиков совершенно иначе.

# Содержание

|  |     |
|--|-----|
| Вместо предисловия                       | 4   |
| М Е Р А Л Ю Б В И                        | 21  |
| А Р М И Я Ж А Н Н Ы                      | 80  |
| СОЛДАТ, РАССКАЗАВШИЙ НЕ ПР<br>А В Д У... | 121 |
| В Н О Ч Ъ Н А Д Е В Я Т О Е...           | 150 |
| П Р О С Т О Б Ы Л А В О Й Н А...         | 175 |
| Д Е Н Ъ З А Щ И Т Ы Д Е Т Е Й            | 185 |

# Алексей Котов

## Солдат, рассказавший неправду

### Вместо предисловия

Отрывок из статьи ««Мы – люди. Пусть и не видевшие войны, но знающие о ней...» «Парус», №75 • 02.07.2019.

*Беседа главного редактора журнала «Парус» Ирины Калус (И.В) и писателя, редактора рубрики «Сотворение легенды» Алексея Котова (А.Н).*

А.Н ... Однажды отец спросил бывшего солдата, видел ли он на фронте, как в немцев стреляют женщины? (Улыбнись: этот вопрос он задал после разговора на повышенных тонах с мамой, когда она в очередной раз заявила, что «мужикам нужно меньше пить».) Гость ответил, что да, видел. Однажды их батальон попал в окружение и ночью нужно было прорваться к своим. Перед атакой в траншею пришла санитарка и молча взяла в руки винтовку. Командир сказал ей, чтобы она шла к раненым. Санитарка ответила, что раненых больше нет, потому что в окоп попала мина. Я хорошо запом-

нил лицо рассказчика: оно вдруг стало каким-то виноватым и больным... Словно он стал свидетелем не просто чего-то нехорошего, а... не знаю... еще невиданного им греха, что ли?.. Когда санитарка стреляла в немцев, солдат удивился тому, что у нее было грязное, «какой-то удивительной, почти небесной красоты лицо» и он вдруг подумал, что эта девушка скоро умрет... Ее и в самом деле убили в начале атаки, и рассказчик долго молчал после того, как сказал об этом. Наверное, это была самая длительная пауза в разговоре взрослых, с которой мне приходилось до этого сталкиваться...

И.В. Здесь я соглашусь. В женщине, несущей смерть в бою, есть что-то крайне противоестественное. Но давайте вспомним, ведь на войне были женщины-снайперы, женщины-летчицы и даже разведчицы...

А.Н. А много ли было таких женщин? Я почему-то думаю, что эти исключения только подтверждают правило. Да и страшнее, чем быть санитаркой на фронте – а там до винтовки далековато – по воспоминаниям самих фронтовиков, больше ничего нет.

И.В. Да, понятно... Но, уважаемый Алексей Николаевич, чтобы Вас понимали чуть лучше, нам нужно самим сделать первый шаг и всё-таки открыть рубрику. Улыбнусь: а еще, вполне возможно, что мне хочется немного покритиковать

и Вас. Не Вам же одному критиковать других, да ещё минуя законы логики.

А.Н. Начать – пожалуйста. Рассказ «Асы» я написал десять лет назад. Он проходил в периодике хорошим тиражом... В общем, это все.

И.В. А как он родился?.. Точнее говоря, как родилась эта легенда?

А.Н. Об этом потом. Так и читателю удобнее будет. Хорошо?

И.В. Ну, если читателю удобнее, то хорошо.

## **А С Ы**

### **История военной летчицы**

... Весной сорок третьего перегоняли мы с подружкой «У-2» из ремонтной бригады на наш фронтовой аэродром. Из оружия – только наганы. А впрочем, зачем нам оружие,

если внизу наш тыл? Катька мне песни по внутренней связи поет, а я – штурман-стрелок без пулемета – американское печенье грызу.

Катьке тогда двадцать два года было, мне – девятнадцать. Девчонки совсем!.. Но дружили мы крепко. Катька красивая была как королева, бойкая, такая спуску никому не давала. Служил у нас на аэродроме один майор-связист, грешок за ним водился – любил свое равнодушие к женскому полу руками доказывать. Но после «разговора» с Катькой он ее и меня за три версты обегать стал. Издалека предпочитал здороваться, причем крайне вежливо, а часто и фуражечку приподнимал.

На фронте к женщинам особое отношение было. Не в бою, конечно – на земле. Чуть «зазевалась» девчонка – уже и женишок рядом вертится. Люблю, мол, и жить без вас не могу!.. Тили-тили, трали-вали, короче говоря.

Катька все посмеивалась: мол, эти мужики, как «мессеры», всегда с тыла заходят, то есть со стороны женского сердца. Может быть, уже завтра гореть девчонке среди обломков фанерного самолетика, уткнувшись разбитым лицом в приборную доску, а тут – любовь, понимаешь!.. Но человек к жизни тысячами нитей привязан. Чего греха таить, жаден он к ней, даже ненасытен, а любовь-то, она и есть самая главная ниточка. Чуть тронь ее – уже стучит глупое сердечко, волнуется... И жизнь огромной кажется, как небо.

Рядом с нами истребительный полк базировался. Сама не

знаю как, но привязался ко мне паренек один. Ладно бы герою, а то так себе – младший лейтенантик ускоренного выпуска... Худой, как мальчишка, и застенчивый еще больше, чем я. Из всех достоинств у Мишки только глаза и были. Никогда, ни до, ни после, я ни у кого таких бездонных глаз не видела: огромные, голубые, может быть, чуть грустные, но едва улыбнешься ему, глядь, и в Мишкиных «озерах» живая и лукавая искорка светится. «Озерами» Мишкины глаза Катька называла. В насмешку, конечно. А еще она терпеть не могла, когда я ей про Мишкины ухаживания рассказывала. Злилась даже. Хотя какой из Мишки, спрашивается, ухажер? Всей смелости у него только на то и хватало, чтобы рядом со мной присесть да робко за руку тронуть...

Месяц прошел – Мишка мне предложение сделал. Смешно!.. Не целовались даже ни разу, а тут – замуж. Рассказала я Катьке. Она глазами сверкнула, отвернулась и молчит. А я от смеха уже чуть ли не задыхаюсь. Мишка – милый, но совсем простецкий Мишка – и вдруг муж?!.. В ту пору мне больше рослые ребята нравились, с орденами и снисходительными улыбочками. Герои!.. А тут вдруг какой-то красный от смущения Мишка.

Помолчала Катька и спрашивает:

– Прогнала его?

Я смеюсь:

– Конечно.

На том и закончился наш разговор.



А уже на следующий день я Катьку рядом с Мишкой увидела. Стоит наша гордая полковая красавица и такими влюбленными глазами на Мишку смотрит, что даже у майора-связиста челюсть на грудь упала. Мол, чего это она, а?! Да что там майор, сам командир полка – и тот головой покачал. А потом вlepил он Катьке сутки «губы», чтобы охолонула она от своего неумного чувства, поскольку зенитчики вместо того, чтобы за небом присматривать, на сияющую от счастья красавицу глаза пялят.

Шевельнулось у меня под сердцем что-то... Что-то недоброе к Катьке. Мол, зачем она к Мишке подошла? Во-первых, мы же подруги, а во-вторых, если я Мишку прогнала, то ей-то он зачем?

А весной в мае ночи светлые, соловьиные... Сирень пахнет так, словно войны и в помине нет. Если бы мы на ночные бомбежки летали – может, я и не думала ни о чем. Но перед этим потрепали нашу старенькую «восьмерку» немецкие зенитки. Сдали ее в ремонт, в тыл... Короче говоря, не один час по ночам я потолок нашей землянки рассматривала и никак от мысли, где и с кем сейчас моя подруга Катька пропадает, избавиться не могла.

Потом срок пришел за нашей «восьмеркой» в тыл ехать. Я остаться могла, но Катьку не проведешь: мало ли, мол, что в ее отсутствие на моем личном фронте случиться может? Тем более что у девятнадцатилетней девчонки вчерашнее «нет» очень легко в «да» превращается.

Ох, и ласкова же со мной Катька была!.. Когда мы на «полторке» ехали, она меня два часа шоколадом кормила. Целый месяц она его копила, что ли?.. А болтала Катька так, словно на всю войну наговориться решила: и о доме своем под Иркутском, и об учебе в техникуме, и о матери... Короче говоря, обо всем, кроме Мишки. Но сколько бы я шоколада не ела, все равно под сердцем горько было. Неуютно как-то – и горько...

А еще через сутки поднялись мы с Катькой на своей «восьмерке» с пыльного аэродрома к веселеньким облачкам, еще не зная, что идем в самый страшный и отчаянный бой в своей жизни...

Погода была лучше и не придумать: солнышко яркое-яркое и вокруг пышные облака, как огромные корабли. Вдруг смотрим, ниже нас – «мессер»!.. Один. Нас он не заметил – мы как раз в облако нырнули. Такие самолеты-одиночки «охотниками» называли. Летали на них только асы. Правда, такому асу что полевой госпиталь атаковать, что штаб во время передислокации – все едино. А когда «мессер» с нами встретился, он довольно медленно шел, словно на земле что-то высматривал.

Война – это азарт, азарт страшный – до безумия. Были кое-какие шансы у Катьки, была секундочка, чтобы на голову фашиста свалиться и пропеллером его рубануть, но скорости не хватило, у «мессера» скорость – втрое. К тому же опытный нам гад попался, успел в сторону шарahnуться, да и не

таран это с нашей стороны был, а что-то типа падения кирпича на голову. Уже потом над нами девчонки в полку посмеивались: что, мол, барышни-мечтательницы, не удалось вам с первого раза попасть цветочным горшком с балкона в бешеного пса?... Только не на балконе, конечно же, мы тогда стояли, но очень злы были на немцев. А потому Катька на не совсем удачное положение немца внизу так быстро среагировала. Как говорится, почти на автомате: конечно же, глупо, конечно же, слишком дерзко, но ото всей души...

Кое-как увернулись мы от очереди «мессера» и – в облако. А фрица, видно, обида взяла: мол, какие-то русские «фрау» меня, аса, сбить захотели. Опять-таки позже я узнала, что в тот день немцы узловую станцию бомбили и наши зенитчицы их здорово потрепали – кроме «юнкерса» и бубновый «мессер» в землю вогнали. Нас тоже «бубновый» атакował, и как знать, может быть, он цель для мести искал, чтобы свою злобу на нее выплеснуть. Знали немцы, что на «У-2» частенько женщины летают и они же возле зениток стоят. Короче говоря, решил немец на нас поохотиться. А почему бы и нет, спрашивается, если опасности – ноль, а кроме того, их брату-асу за «рус фанер» с «рус фрау» железный крест давали.

Крутимся мы в облаках... А фрицу то ли его же собственная скорость за тихоходным самолетиком охотиться мешает, то ли он специально выманивает нас из облака: крутится ниже на минимальной скорости, словно на вторую атаку на-

прашивается.

Высмотрели мы вдвоем фашиста еще раз. Катька ручку от себя и – в пике прямо на черные кресты. А что делать-то?!.. Облака все реже и реже, шансов на удачу – один на сто тысяч, но, если умирать – так с музыкой.

«Мессер» чуть ли на «пяточке» развернулся и как полоснет очередью! Меня в руку задело, Катьке осколками триплекса лицо посекло. Спасло только то, что Катька успела под брюхом «мессера» прошмыгнуть.

Стал немец еще ближе от облаков кружить. Ждет, сволочь!.. На, бери, мол, меня. А у нас – бензин почти на нуле. С парашютом прыгать бесполезно, для «мессера» двух «фрау»-парашютисток расстрелять – одно удовольствие.

Катька мне кричит:

– Не вижу ничего!.. Кровь глаза заливает. Наводи меня!..

Только я что могла?.. Хоть и не сильно меня фриц задел, но мимо артерии пуля все-таки не прошла. Кровь хлещет так – ладошкой рану не зажмешь. Мутится все перед глазами... А фашист хоть и рядом, но попробуй, достань его. Это тебе не бомбы на окопы с сонными фашистами сыпать.

Вот в ту секундочку и вспомнила я Мишкины глаза. Словно в самую душу плеснули мне его «озера». Казалось бы, вот она, смерть, а меня жалость какая-то за сердце берет.

«Ах, Мишка ты, Мишка, – думаю про себя. – Что же ты таким робким оказался? Был бы наглым, как этот фашист проклятый, может быть, и добился чего-нибудь?.. Хотя бы

поцелуя в щеку. А ты все краснел да смущался. Эх, а еще мужик!...»

Катька мне кричит:

– Бензин кончается!.. Не вижу!.. Наводи!

А у меня в голове: «Прощай, Мишенька!.. Видно, не судьба, потому что фашист этот не как ты... От него не уйдешь».

Я смотрю, тень чуть ниже нас скользит. Мелькает как щука в камышах. Близко совсем... Кажется, руку протяни и достанешь. Исчезла тень, снова появилась и снова исчезла... Впрочем, это даже не щука была, а настоящая акула, потому что фриц свой «мессер» часто брюхом вверх переворачивал. Акула так делает, когда добычу хватает, а немец наоборот – свое вроде бы как неудачное положение подчеркивал. Схватить он нас хотел, очень сильно хотел, потому и подманивал. Безумная, почти нереальная игра у нас с ним получилась...

Я кричу:

– Катька, левее на десять часов!

Ближе тень... Еще ближе! Крепкие нервы у немца оказались: что, мол, дамочки, слабо вам, да?

Словно по ниточке, на последнюю атаку мы выходили... Цена ниточки той – жизнь. Когда «мессер» стал высоту на развороте набирать, упала у него скорость... Казалось, еще полсекунды – и он в штопор сорвется. Всплыла брюхом вверх наша «акула»... Лежит и ждет.

Я кричу:

– Катенька, право на четыре!.. Угол семьдесят. Милая, прощай!!

Уже не о простом таране речь шла, а о таком, после которого комок железа вперемешку с человеческой плотью остается.

Только ошиблась я... Просто не могла не ошибиться, ведь ни один математический гений не смог бы рассчитать нашу точку встречи с немцем. Наудачу мы смерть свою искали, и перед самым носом фашиста наш самолетик из облака вынырнул. Короче говоря, не мы его, а он нас таранил: осколки нашего «хвоста» в одну сторону брызнули, пропеллер от «мессера» – в другую. В грудь ударило так – только искры перед глазами сверкнули, а потом погасли искры... Как в бездне погасли.

Как с парашютом садилась – не помню... В себя на земле пришла – и бегом к Катьке.

А она за лицо обоими руками держится и стонет:

– Господи, да кто же меня теперь замуж возьмет?!

Оторвала я ее руки от лица. Смотрю – осколки поверху прошли, брови рассекли, лоб, и только на одной щеке царапина.

Я говорю:

– Катенька, это ничего... До свадьбы заживет.

А Катька мне сквозь слезы шепчет:

– Да не будет никакой свадьбы, не будет!.. Мишка тебя

любит, а значит, ты – самая настоящая разлучница.

Я удивилась, конечно, и отвечаю:

– Какая же я разлучница, если я с ним первая целовалась?

Катька говорит:

– Врешь ты все, не целовались вы ни разу!.. Господи, и что только Мишка в тебе нашел-то?!

Обидно мне стало. Даже руки у меня от той обиды задрожали.

– Может, что и нашел – говорю, – тебе-то какое дело?!

Катька кричит:

– А такое!.. Ты Мишку прогнала? Вот и не лезь теперь к нему.

Я кричу:

– А вот захочу и полезу!.. И ничего ты мне не сделаешь.

Мимо какая-то пехотная часть шла. Если бы не мы – потрепал бы их «мессер». Так что сбитого летчика солдаты наши чуть ли не на руки приняли.

Полковник подошел. Посмотрел он на нас, улыбнулся и спрашивает:

– Девочки, вы что тут, драться собрались, что ли?

Немца привели. Ух, и гад нам попался!.. Вся грудь в орденах, и рожа, как у пса-рыцаря из кино «Александр Невский», правда, уже побитая здорово. Но это дело понятное, и, если бы не полковник – просто пристрелили бы наши ребята немца.

Немец морду задрал и лопочет что-то полковнику через

переводчика.

Полковник на нас пальцем показал и говорит:

– Что, сукин сын, бьют вас наши девочки? Ты не мне, ты им докладывай.

Посмотрел на нас немец – поморщился, а потом говорит:

– Майор фон Отто Краух (или как его там?.. Я уже и не помню). Совершил триста боевых вылетов. Уничтожил девятью восемь самолетов противника. В последнем бою своим первым тараном сбил... – еще раз посмотрел на нас немец, еще раз поморщился. – Сбил двух советских асов.

Двух асов!.. Хитрый счет у войны – и дотянул-таки до желанной цифры «100» фашист. Правда, «асы» ему не очень бравые попались: полуослепшая от собственной крови девушка-летчица да стрелок-штурман, которая только и могла что запустить в немца куском печенья.

Улыбнулся полковник: вроде как юбилей у «фона» случился. Сотня все-таки. Наградить бы нужно его, только чем?.. Порылся в кармане полковник, достал солдатскую, затертую звездочку от пилотки, которую, наверное, на пыльной дороге нашел, и на грудь немца, рядом с крестами, приколот.

– Спасибо тебе, – говорит, – гад, за твой идиотский таран, на который ты помимо своей воли пошел, и за то, что девочки живы остались. И учти, если бы они погибли, я бы тебя своими руками придушил. А теперь носи свою последнюю награду на здоровье, сволочь.



Даже мы с Катькой – и то засмеялись...

А с Мишкой у нас так ничего и не получилось.

Уже в госпитале узнали мы с Катей, что три дня спустя истребительный полк почти в полном составе штурмовал железнодорожный мост. Бой был страшный... Но кое-кто из ребят все-таки успел увидеть, как из последних сил, почти над самой землей, тянул и тянул к жирной «гусенице» фашистского эшелона доверху залитого топливом для танков, объятый пламенем Мишкин «Як»...

Даже могилы – и той от Мишки не осталось.

С тех пор прошло уже много лет, но каждую весну мне снится Мишка. Как живой стоит он передо мной, улыбается чуть виновато своими огромными глазами и молчит.

Люди правильно говорят, у войны не женское лицо... Но никто не знает, какая у нее память.

\*\*\*

И.В. Алексей Николаевич, спасибо за первый рассказ. Так всё-таки ответите на вопрос, как родилась эта легенда?

А.Н. В школе у нас был учитель истории – Иван Дмитриевич... Фамилии уже не помню, много лет прошло. В Отечественную он воевал на «Ил-2», много раз горел, но после госпиталя снова возвращался в часть. Это был высокий, пол-

ный человек с бравыми кавалерийскими усами. Он даже орденских колодок не носил, но те, кто видел его награды, говорили, что, глядя на такой «иконостас», просто нельзя было не перекреститься от удивления.

Однажды он рассказал нам, школьникам, такую историю. Их полк перебазировался на другой аэродром, и тот еще не был полностью готов. Часть машин базировалась на старом аэродроме, часть – на новом, а зенитки и прочая земная «механика» были в пути. Когда Иван Дмитриевич прилетел на новое место, те, кто там уже провел сутки, рассказали ему о недавнем странном то ли бое, то ли столкновении над взлетной полосой. Столкнулись размалеванный «бубновый» «мессер» и «У-2», на котором летели две наши девушки. Столкновение произошло совсем близко от земли, и очень странным казалось то, что механики после осмотра останков самолетов утверждали, что «мессер» ударили снизу. Сам бой (если он вообще имел место) был настолько скоротечным, что его никто не видел. Да и пулеметных очередей никто не слышал. Гипотез было очень много, но, в конце концов, стала высвечиваться только одна. В тот день наши зенитчики неподалеку сбили «бубнового» «мессера», и не исключено, что его напарник искал того, на ком мог сорвать свою злость. И не просто сорвать, а... с большим унижением врага, что ли? В конце концов немец заметил заходящий на посадку «У-2». Он спикировал на него, но не стрелял, а попытался ударить его сверху, впрочем, даже не ударить, а надавить шасси на

крошечный самолетик и без единого выстрела вогнать его в землю. Чем не унижение врага?.. Ни одного патрона не израсходовал, а самолет противника все-таки уничтожил. Конечно, немец рисковал, но для летчика-аса это было все-таки выполнимой задачей: верхнее крыло биплана «У-2» находится над местоположением летчиков, и свой пропеллер не заденешь. Но, наверное, девушки успели заметить заходящий на них «мессер»... Скорее всего, это был штурман, потому что внимание летчика во время посадки сосредоточено на взлетной полосе. И летчица вместо того, чтобы попытаться улизнуть в сторону и сохранить мизерный шанс на жизнь, рванула штурвал на себя...

И.В. Фактически это был таран против тарана?

А.Н. Этого никто точно не знает. Например, когда штурман заметила «мессер»: за десять секунд до столкновения или только за пару? В зависимости от времени можно по-разному оценивать ситуацию, и не только с точки зрения полетных траекторий, но и с точки зрения психологии. Между двумя секундами и десятью слишком большая разница в принятии возможных решений. Здесь нужно моделировать и тщательно все просчитывать, но этого никто не делал. А свидетели и одновременно участники – немецкий летчик и наши девушки – погибли. Одну из них хоронили в закрытом гробу... О второй Иван Дмитриевич сказал, что она показана

лась ему очень молодой, а ее лицо было каким-то удивленным.

И.В. А вам не кажется, что Вы слишком сильно изменили ситуацию в своем рассказе?

А.Н. Нет... Впрочем, даже не «нет», а я об этом попросту не думал, потому что более точная ситуация, на мой взгляд, не поддается художественному описанию.

И.В. Что же, с Вами не соскучишься, уважаемый Алексей Николаевич... Впрочем, нам пора завершать беседу – она и так получилась довольно большой. Единственное, что мне хотелось бы сказать... нет, точнее, пожелать новой рубрике – стать успешной. А для этого потребуются много присланных материалов и вовлечённость наших авторов и читателей. Давайте вместе сотворим эту великую легенду о том, что было. Ведь мы – люди, пусть и не видевшие войны, но все-таки знающие о ней... Знающие очень многое из рассказов наших близких и просто знакомых людей.

\*\*\*\*\*

# М Е Р А Л Ю Б В И

## 1.

... У мальчишек всегда много дел. Поэтому я не слышал с самого начала рассказ бывшего фронтовика «Майора» и едва ли не его половина в моем изложении только попытка восстановить события с помощью логики. Но я довольно хорошо запомнил то первое, что услышал, когда подошел к столу с разнообразными закусками и горделивыми бутылками.

– ... Коля, пойми, тогда я просто запутался, наверное. А может быть и хуже. Представь, ты переходишь реку вброд, тебя вдруг подхватывает поток воды, приподнимает так, что ты теряешь опору под ногами и тебя несет черт знает куда. Дело-то было не в моей глупости или слабости. «Смерш» он и есть «Смерш», там слюнтяев и дураков не держали. Не знаю, но... Самым трудным на войне было из немецкого окружения в одиночку выходить. Вроде бы никто тебя никуда не торопит, никто тобой не командует. Хочешь – иди, хочешь – отдохни немного. Но тогда-то и начинается в тебе шевелиться сомнение, а стоит ли идти?.. Ведь жизнь дается только раз. И зачем тебе вся эта война?.. Это сейчас мне

просто обо всем рассказывать, когда мы с тобой водку пьем. Ведь теперь мы с тобой простые и добрые. Но на войне доброты не бывает...

У «Майора» было растерянное лицо и виноватые глаза. Из всех гостей моего отца, как говорила моя мама, он был самым «буйным и невоспитанным». Я бы добавил еще «а еще веселым!», но, уверен, что не заслужил бы одобрения матери. Короче говоря, я никогда не подозревал, что увижу «Майора» вот таким: растерянным и словно придавленным грудью к столу какой-то неведомой и недоброй силой. Он сгорбился, его лицо было непривычно мрачным, а упрямый лоб пересекала глубокая морщина.

Мой отец не воевал в Отечественную, не хватило одного года до призыва и – кто знает? – может быть, некое чувство вины тянуло его к бывшим фронтовикам. Среди них было много разных людей, в том числе и странных, но дядя Семен по прозвищу «Майор», наверное, был самым заметным.

Он как-то раз сказал:

– Эх, мне бы писателем стать!.. – «Майор» засмеялся и стукнул ладошкой по столу. Он всегда заметно оживлялся, когда к нему, по его мнению, приходили хорошие «идейки». – Какие бы я замечательные романы о средневековых рыцарях и пиратах тогда написал!..

Я удивился, услышав такое странное желание от бывшего фронтовика и уж тем более от «смершевца». Нет, конечно, я бы сам с удовольствием прочитал приключенческую кни-

гу, но представить себе дядю Семена в роли сочинителя легкомысленных походов какого-нибудь авантюриста я все-таки не мог.

«Майор» взъерошил мне волосы и снисходительно сказал:

– Жизнь – это интереснейшая штука, пацан. А если прожить ее по-настоящему, то к концу она должна стать еще интереснее. Ну, как хорошая книга.

Но вернемся к тому рассказу, о котором я упомянул в начале. Напомню, что этот, так сказать, восстановленный монолог дался мне не без труда. В такой работе не так тяжело находить нужные слова, сколько отсекать лишние, чтобы не расплывались образы. Не думаю, что это удалось мне в полной мере, но мне не хотелось, чтобы в рассказе «Майора» вдруг зазвучали резкие и откровенно жестокие нотки...

## 2.

– ... Этого гада прямо на месте выброски взяли. Знаешь, я теперь даже его фамилию не помню. Звали Мишкой, а фамилия... Только и помню, что на «ий» кончалась. В общем, на «Вий» похоже. Так и буду его называть, потому что гадом он оказался редчайшим.

Мы тогда, в конце сорок четвертого, особо с такой братией не возились, все понимали, что война к концу идет и нечего тут, понимаешь, с разной мразью общаться. Когда ди-

версионная группа на месте выброски попыталась отстреливаться, мы им такой пулеметно-минометный «концерт» закатали, что потом только двоих на поле боя нашли – этого Мишку «Вия» и второго, полуослепшего здоровяка. Мишке осколками ноги посекло, а здоровяка, видно контузило сильно, но он нас к себе так и не подпустил. Нож, сука, вынул и тыкает им вокруг себя, зачем-то воздух дырявит. С ним возиться не стали – просто пристрелили, а Мишку пришлось живым брать. Не одобрило бы начальство полного отсутствия пленных.

Дальше что?.. Особого интереса этот Мишка «Вий» не представлял, но начальство решило показательный процесс устроить. Не знаю, для чего это вдруг потребовалось, но, видно, и в самом деле нужно было.

Но до суда нужно следствие провести. Вот и посадили меня напротив Мишки и его ободранных костылей с пачкой бумаги. Работенка не из легких с таким подонком разговаривать. Казалось бы, все просто, я – спрашиваю, он – отвечает, но нет!.. Ненависть мешает. Он же – русский, как и я. И в своих стрелял, сволочь. Мишка понимал это и частенько усмехался. Как-то раз сказал, мол, мучаешься ты сильно, ударь меня, тебе легче станет. Пожалел, значит... У меня от такой его «жалости», чуть челюсть судорогой не свело. Ну, я в крик, конечно, и кулаком по столу. Как только сдержался и по роже ему не съездил, не знаю.

В общем, сначала все довольно просто было... Враг он и



есть враг, тут нюансов быть не может. Стал Мишка «Вий» о себе рассказывать. Мол, в 1939 году получил пять лет за драку. Какой-то комсомольский лидер (тут он, конечно, совсем похабное слово ввернул, вместо «лидер») стал приставать к его жене. Мишка его предупредил. Потом еще раз, а когда однажды жена домой в слезах пришла – физиономию этому «лидеру» набил.

Дали «Вию» пять лет, попал он в лагерь. До Москвы, как говорится, рукой подать, всего-то полторы тысячи километров на юго-запад. В лагере – два «блатных» барака и пять – для «мужиков». Лес – прямо за колючей проволокой, руби сколько захочешь...

### 3.

...Мишка «Вий» попросил папиросу. «Майор» положил на стол пачку и спички. Мол, черт с ним, пусть дымит, не собачится же с этим гадом каждые пять минут.

«Вий» глубоко затянулся дымом и продолжил:

– До войны в лагере еще можно было как-то прожить, а начиная с июля 1941 года – такая голодуха началась, что хоть ложись и помирай. К тому же блатные озверели, чуть ли не последнее отнимали. Они слаженной стаей жили, не то, что мы, мужики. Слово поперек скажешь – «перо» под ребро и пусть рядом с тобой хоть сто мужиков стоит, ни один на за-

шиту не бросится.

Что начальство?.. А ничего. Мы лес рубим, и мы же как щепки летим... Но не на свободу, а на тот свет. Война человеческую жизнь совсем дешевой сделала.

Начальником лагеря был капитан Кладов. Солидный мужчина!.. Рост под два метра и физиономия как у раненого бульдога. Порядок в лагере его так же интересовал, как чистота в общем нужнике, в который он ни разу не заходил. Кстати говоря, если бы не блатные, туда вообще нельзя было войти. Они-то и находили «дежурных», и они же заставляли их там порядок наводить.

В конце октября 1941 года к капитану дочка приехала... Беленькая такая, чистенькая лет семнадцати. Говорят, что тогда в Москве большая паника поднялась и народ на все четыре стороны рванул из белокаменной. Что с матерью девчонки случилось – не знаю, умерла, наверное... А податься ей, кроме как к отцу, видно, больше не к кому было. Я слышал, что, мол, Кладов с родней из Омска пытался списаться, чтобы дочку к ним отправить, только что-то не получалось там у него...

А через месяц убили его дочку. Утром голый труп нашли возле внешней колючей проволоки. Поиздевались над ней здорово, как говорится, живого места на девчонке не оставили. Я помню, как Кладов мертвую дочь на руках в свой начальственный барак нес... Хоть и гадом он был, но за дочь переживал, конечно, сильно. Из барака через час вышел –

виски совсем седые. В руках – автомат. Вообще-то, у нас охрана была винтовками вооружена, на вышках – ручные пулеметы, но у Кладова автомат еще был... ППД. Видно, положено ему было как начальнику для общения с зеками.

На работу в тот день нас не послали. Выстроил Кладов весь лагерь на утреннем плацу и спрашивает: «Кто?!» Только одним словом спрашивал и так, словно кулаком бил. Лицо у него... В общем, совсем нехорошая физиономия была, – Мишка хмыкнул. – Совсем в звериную морду превратилось. Зеки стоят и молчат... Потому что все знали, что вечером девчонку блатные во второй барак затащили. Но легче сразу на проволоку броситься, чем такое начальству сказать. Блатные такого не прощали. Папашка ее в это время к начальству отъезжал, вернулся поздно, в комнату дочери заглянуть не догадался, посчитал – спит дочка.

Кладов снова спрашивает: «Кто?!»

Мы молчим... Кладов поднимает «ППД» на уровень своего пуза и велит отойти в сторону троим блатным из первого барака и двум мужикам. Ну, и после третьего «кто?!», почти без паузы – очередь в упор на два десятка патронов. Зеков как косой срезало...

Я гляжу, заместитель Кладова лейтенант Ерохин и прочие вертухаи заволновались. Как же, мол, так?!.. Нельзя без суда. Правда, когда блатные мужиков резали никто из них особо не переживал. Как говорится, сдох Максим – и фиг с ним. По одному в день – можно, такая мера социальной защиты

наши судами не запрещается.

Потом разошлись по баракам... Трупы убрали. Кладов к себе ушел, а за ним Ерохин, как крыса, метнулся. Наверное, выяснять под каким предлогом мертвецов списывать.

День прошел – хлеба ни крошки не дали. А уже вечером, блатные между собой столкнулись. Не знаю, может быть, выясняли, вечные русские вопросы типа «кто виноват и что делать?» С вышки пару очередей поверх голов дали – разбежались блатные.

Утром Кладов снова выстроил лагерь и спрашивает: «Кто?!» А «ППД» – уже наизготовку. Физиономия – бледная как мел, глаза – сумасшедшие, а под ними круги в пол-лица.

Народ заволновался, мол, что опять нас расстреливать будут?!..

Из толпы кричат:

– Что ты «ктокаешь»?!.. Ты разберись сначала, а потом стреляй.

Кладов снова свое:

– Кто?!..

Попятилась толпа... Если бы с вышек пулеметы по периметру стрелять не стали – разбежались бы наверняка. А так сразу понятно стало – за барачной дюймовой доской от пули не спрячешься. И в лес не убежишь, потому что пока с колючей проволокой провозишься – десять раз убьют.

Еще пятерых расстрелял в тот день Кладов и снова такого же набора – блатных из первого барака и двух мужиков.

Расходились мы по баракам растерянные, злые, потерянные какие-то. Вроде бы все молчат, а вокруг шепот как густая трава: «Когти рвать надо!.. Не пропадать же!» Особенно сильно блатные нервничали. У них и до этого случая какие-то терки между бараками были, и совсем не шуточные, а тут они словно с цепи сорвались. Ужин нам в тот день все-таки дали, но почти сразу у раздаточного бака драка получилась – блатные друг друга резать начали. Может быть, по причине того, что девчонку изнасиловали и убили во втором бараке, а Кладов расстреливает из первого.

Пулеметы – молчат. Охрана – залегла в зоне obsługi и только штыки винтовок видно. Вот такой и получился советский суд – кто сильнее, тот прав. Если выжить ухитрился – живи дальше, а сдох – туда тебе и дорога.

А драка все шире и шире разрастается... Часа не прошло, к блатным из первого барака мужики присоединились. Причина простая была: слух пошел, что блатные из второго предложили пятерых мужиков прикончить и за насильников их выдать. Мол, вы, товарищ Кладов, спрашивали кто?.. Вот эти сволочи и есть эти самые «кто». Мы их сами порешили, так что не волнуйтесь больше, пожалуйста.

Драка жестокая была – до смерти. Впрочем, от такой жизни, какая у нас была, до зверства всегда только шаг был... А может, и того меньше. Люди друг другу рты пальцами рвали, руки-ноги в суставах ломали, расщепленными досками животы выворачивали.

В конце концов загнали виноватых блатных в их второй барак. Подожгли... Кто выскакивает из огня – добивают. Резали так, что кровь из горла – фонтаном.

Не знаю, сколько блатных во втором бараке было, человек тридцать, наверное, не меньше... Когда крыша барака занялась, они наружу всей толпой рванули. Вот тут самое страшное и началось... Если сказать, что люди в скотов превратились, значит ничего не сказать. Кровавая мясорубка получилось, понимаете? Я уже говорил, что между блатными и раньше стычки были, да и мужики тех, кто из второго барака, особенно сильно недолюбливали. Те позлее были, что ли?.. А теперь пришло время по долгам платить.

В общем, убивали блатных из второго страшно, так, наверное, только при Иване Грозном казнили. Даже спешить перестали. Растянут человека на земле – и лицо в покрытую хрупким ледком лужу. Наглотается – приподнимут голову, отдышался – снова туда. А в это время еще и ему ноги ломают, чтобы человек во время вопля побольше ледяной воды в себя втягивал. Да и бить не прекращали... Так что не вода изо рта человека фонтаном била, а кровавая жижа.

Только ночью все прекратилось. А уже утром, целый грузовик с солдатами прикатил и какое-то начальство в легковушке. Деловыми приезжие ребята оказались, шустро лагерь заняли. Кладова – под руки и в легковушку. Охрану лагеря выстроили, разоружили и тоже в грузовик. Нас – на расчистку территории и уборку трупов. Уже к вечеру лагерь как но-

венький был. Ну, разве что одного барака не хватало да, в дальнем уголке, за хозблоком, семь десятков трупов лежали. В остальном – все хорошо, даже дорожки подмели.

Следствие коротким было – вызывали по одному, задавали три-четыре вопроса и, кажется, даже не слушали ответов. Но головами в ответ кивали, словно успокаивали. Я даже удивился: мол, что снисхождение такое?!.. Потом быстро понял, нам просто давали понять, что, мол, все, что тут, в лагере случилось, – мелочь, а вот Родина, гражданин заключенный, в опасности. Как вы смотрите на то, чтобы стать грудью на ее защиту?.. Если нет, то тогда, извините, но о снисхождении забудьте. Будем разбираться с вами как с врагом народа.

В «добровольцы» весь лагерь пошел. Потому что выхода не было. Блатные «вышки» боялись, а мужики не только «вышки», но еще того, что другие блатные, в других лагерях, их за драку со своими на ножи поставят. Ну, разве что больных, раненных и в конец «заблатовавших» в добровольцы не взяли. Первых, по больничкам в соседние лагеря рассовали и предупредили, чтобы помалкивали, а вторые отбыли куда-то безадресно. Может быть, и живы остались, только я не верю, что в тех местах, куда их сунули, долго прожить можно...

... Отец стал разливать водку по стаканам, а «Майор» пыхнул папиросой и какое-то время рассматривал расплывающееся облако дыма. Он усмехнулся, словно вспомнив что-то невеселое и продолжил:

– В общем, рассказ Мишки «Вия» заинтересовал начальство. Бунт в лагере, пусть и не против начальства, но все-таки был и дело, как не крути, очень большим получилось, да еще с незаконным расстрелом заключенных. А главное, за такую «мобилизацию» в армию вот так, без разбора, тоже по головке никто не погладил бы.

А может быть, одно начальство пыталось подставить ножку другому? Война – войной, но там и такое бывало... Тем более, что наверху, жизнь не то, что у нашего брата, там «интриги мадридского двора» при любой власти случаются.

Стали рассылать запросы: мол, судя, по нашим сведениям, в такое-то время, в таком лагере был бунт заключенных, их незаконный расстрел и массовый, без учета 58-ой статьи, призыв в Советскую Армию. Просим сообщить номера частей, куда были направлены бывшие заключенные для получения свидетельских показаний, так как среди них обнаружены люди, перешедшие на сторону немецко-фашистских оккупантов.

Последнее, кстати говоря, как раз наше дело и против этого факта не погрешь. Мишка «Вий» ведь сам к немцам перебежал и ни как-нибудь, а с оружием. Был в боевом охранении с двумя бывшими солагерниками (тут еще нужно бы-



ло разобраться, почему так получилось и почему они вообще в одной части оказались), ну и ночью, все трое по-тихому ушли к немцам.

Короче говоря, дело завертелось, пошла работа и запросы, но тут меня жизнь как косою под колени рубанула. Получаю из дома письмо от жены, так, мол, и так, дорогая моя Семечка, теперь я люблю другого человека. Прости, если можешь и забудь меня...

«Майор» потер могучую шею широкой ладонью и криво усмехнулся. Мой отец потянулся за папиросами. Какое-то время они молчали. Отец молчал потому, что на кухню вошла мама. Она слышала последние слова «Майора» и отцу дорого обошлось бы сочувственное, но нехорошее слово о женщинах, сказанное гостю. А «Майор» молчал потому, что поднял с пола пушистого кота и, простодушно улыбаясь, гладил его. Казалось, он забыл о своем рассказе и интересовался только котом.

– Что примолкли? – с подозрением спросила мама. – Добавки все равно не будет.

– А у нас еще есть, нам хватит, – отец торопливо приподнял бутылку. Он тут же подмигнул гостю, давая ему понять, что «добавка» – дело не женское и у него, как у хозяина дома, всегда найдется в загашнике своя «добавка».

– Не надоело вам о войне языками трепать? – сказала мама. – Она, проклятая, ко мне только в снах возвращается, а если приснится, то на утро я с больной головой просыпаюсь.

– Правильно, нехорошо это, – вдруг неожиданно мягко согласился «Майор». – Только видно у мужиков по-другому мозги устроены, Екатерина. Словно что-то не додумали мы в той войне, что-то недорешали...

Мама пожала плечами.

– А что там додумывать? Кончилась война – и слава Богу. Упоминание о Боге вдруг окончательно развесило гостя.

– Бог – да!.. Бог! – он как-то странно, то ли облегченно, то ли с слишком уж весело рассмеялся и, чуть приподнявшись, согнал с колен кота. – Правильно говорят, что на войне атеистов не бывает, вот только откуда эти атеисты потом, после войны, берутся?

– Я какой во время войны была, такой и осталась, – сказала мама. – Хотя и в комсомоле состояла.

– Не запуталась в земных и небесных партиях?

– Нет.

Ответ мамы прозвучал так твердо, что даже отец кивнул головой.

– Ну, а я, например, откуда взялся?.. – «Майор» заметно сник и его вопрос прозвучал довольно неуверенно. – Я имею в виду, потом, после войны?

Даже я понял, что его вопрос относился к утверждению, что «на войне атеистов не бывает».

Мама пожала плечами:

– Не знаю. Все зависит от того, до чего вы тут сейчас до-философствовались.

«Майор» кивнул.

– Пока ни до чего, Катюша. Вот мы сидим и разбираемся.

Прежде чем закрыть за собой дверь, мама оглянулась и сказала:

– Вы только не очень-то тут... А то знаю я вас, атеистов.

А ты, – мама строго посмотрела на меня. – Марш отсюда!..

Я послушно вышел, но у мамы было слишком много дел, чтобы уследить за мной...

## 5.

«Майор» продолжил свой рассказ с заметным трудом, словно что-то внутри мешало ему.

– Я так думаю, что в семейной жизни с Валентиной у меня все как-то слишком сладко было... Сладко до ломоты в зубах. Словно ешь мороженное и оторваться не можешь. И верил я не жене, а той сладости, в которой жил.

Письмо получил... и наплевал на все. Такая боль в груди была – хоть вешайся. Еще напиток толком не успел, а уже рыдал и чуть ли гимнастерку на груди не рвал. Сейчас мне смешно: я ведь почему не застрелился?.. Потому что о пистолете забыл. Весь мир сжался до размеров стола, бутылки спирта на нем, банки тушенки рядом и тусклого окна между серых стен. Мог, мог бабахнуть с дуру!.. Импульсивно, так сказать. Уж слишком большую решительность война в лю-

дях воспитала. Я ведь до «Смерша» обыкновенным ротным был и в атаки не раз бегал. А там, главное, – решиться на все за полсекунды. Рванул пистолет из кобуры – и все...

Придремал я немного лежа мордой на столе, потом поднимаю голову – напротив меня полковник Ершов сидит и пальцами по столу барабанит. Хороший был человек, Николай Егорыч. Строгий, но... не знаю... понимающий, что ли? В общем, умный мужик. И про то проклятое письмо жены он уже знал.

Спрашивает меня Николай Егорыч:

– Пьешь, значит, собака?

Я с ухмылкой в ответ:

– Гав-гав-гав!.. Так точно, принимаю спиртное, товарищ полковник!

Помолчал Егорыч. И снова пальцами по столу – трам-трам-трам... Не на меня смотрит, а куда-то мне за спину. Думает... Лоб морщит, словно пересчитывает что-то. Не знаю, может быть, прикидывает в уме не тянут ли мои прегрешения сразу на расстрел.

Минута прошла, он спрашивает:

– Тебе сколько лет?

Смешно!.. Возраст-то мой тут причем?

– Двадцать восемь, – отвечаю.

– Сколько раз женат был?

– Один.

– Всего?..

– А сколько надо-то?

– Любил жену?

А у меня вдруг слезы из глаз ка-а-ак брызнут! Ответить ничего не могу, только головой киваю.

– Ладно, – говорит Егорыч. – Мы с тобой так договоримся: пьешь сегодня, пьешь завтра, послезавтра отлеживаешься и ни капли спиртного в рот. А в четверг – за работу. Если приказ нарушишь – под трибунал пойдешь.

Я сквозь слезы ору как сумасшедший:

– Приказ ясен, товарищ полковник: два дня принимать спиртное, а в четверг, – как штык, на работу!

Прежде чем уйти, Егорыч пистолетик мой все-таки забрал. В общем, он по-настоящему умный был, а не только потому, что полковничьи погоны носил.

Прежде чем дверь за собой закрыть, оглянулся и сказал:

– Скажи спасибо, что сейчас не сорок первый год.

## 6.

– Приказ Николая Егорыча я выполнил, только в четверг на работу не вышел. Ночью забрали меня в медсанбат – заболел. Температура – сорок один с хвостиком. Говорят, бредил... Такую здоровенную простуду я подцепил, что в сочетании с румынским дрянным спиртом она меня чуть на тот свет не отправила. Я ведь без шинели за спиртом к ребя-

там-разведчикам бегал, а время – гнилая европейская зима. Вроде бы и не холодно было, но такая сырость вокруг, словно мы в старом колодце вдруг оказались.

В себя только через два дня пришел и, главное, как по команде. Глаза открываю, рядом с моей койкой Николай Егорович сидит. Поговорили мы немного... Еще пять дней дал мне полковник, чтобы я хорошенько отлежался. Пальцем погрозил, мол, смотри у меня, я хоть и добрый человек, но за нарушение дисциплины, пусть даже из-за любви к дуре-жене, могу запросто в штрафную роту отправить.

Напоследок Егорович сообщил, что Мишка «Вий» тоже в медсанбат попал – раны на ноге загноились. Наш медсанбат в каком-то полуразбитом доме находился и Мишку в подвале, под охраной, заперли. Лечат, конечно... Нашему начальнику медсанбата Арону Моисеевичу Штейнбергу все равно кого лечить было. Тоже хороший был мужик. Ему бы Геббельса подсунули, он бы и его вылечил. Правда, потом, после суда, сам бы его и повесил за свою семью, которую в Риге расстреляли.

Я ворчу:

– Шлепнули бы Мишку этого чертова и дело с концом.

Егорыч головой замотал:

– Нельзя. Приказ!.. А чтобы ты тут, в медсанбате, без дела не сидел, появятся силенки – сходи к Мишке и поработай. Кстати, ответы на наши запросы о лагере стали приходить. Правда, не очень хорошие.

Я спрашиваю:

– В каком смысле?

Егорыч:

– Живых пока найти не можем... Война, брат! А по тем, кто на нее из того лагеря попал, она как-то уж очень жестко своей ржавой косой прошла. Живых найти не можем.

Через пару дней встал я все-таки с кровати... Очухался немного. Желание идти к Мишке «Вию» – полный ноль. Но, чувство вины перед Егорычем все-таки сильнее оказалось, да и боль от того злосчастного письма жены чуть-чуть поутихла. Или только притаилась, что ли?.. Женское предательство – шутка болезненная и не простая. Она ведь похуже любого гриппа будет.

## 7.

Как бы это странно не звучало, но допрос Мишки «Вия» у меня не получился... И даже не знаю почему. Может быть, мы не в служебном кабинете были, он – лежал, я – рядом сидел, а может быть, просто оба ослабели сильно. Мишка пожелтел даже, скулы и нос – выперли, как у Кашея, а в глазах, то пустота какая-то черная, то чертенячья насмешка... Нет, не надо мной насмешка, а вообще... Над самой жизнью, что ли?

Мишка откровенничать начал... Рассказал, что, мол, не

за жену того комсомольского «лидера» бил, а за свою любовницу. А со своей женой Мишка за месяц до того, как его посадили, развелся. Маленькая она у него была, хрупкая и, как сказал сам Мишка, «совсем невыразительная». Ей бы только на огороде с картошкой и огурцами возиться, да с сынишкой играть...

Я его про сына расспросить попытался, чтобы до совести добраться, а Мишка только плечами безразлично пожал. Маленький, мол, он был, всего-то два годика... Ишь ты, маленький!.. Он бы еще детскими годиками ценность сынишки мерил. А еще про его вес и рост вспомнил. Глядишь, тогда проблема еще меньше получилась бы.

Я Мишку спрашиваю:

– Ну, а ты понимал, что когда к немцам перешел, то и против своего сына воевать стал?

Усмехнулся Мишка и говорит:

– В этой войне толпа с толпой воюет. Попробуй разбери кто там против кого... До того, как к немцам ушел, повоевал немного. Неделю всего, но мне и этого хватило. Помню в первый день немецкие атаки под какой-то деревенькой отбивали. Продержались сутки и назад откатились, потому что от роты меньше взвода осталось. Немцы, наверное, втрое меньше нас потеряли, хотя это они нас атаквали, а не мы их... Умные, сволочи! Пулеметы с бронетранспортеров работали так, что головы из окопа не высунешь. Как из шланга железом поливали. Помню, у них еще два танка было. Так они



тоже вперед особо не совались, издалека работали. А пехота их жмет-жмет-жмет!.. Без передышки. Потом под хорошим прикрытием – ползком к нашим окопам и – гранатами... Сыпали их как картошку – не жалея. А у нас в роте только два «дегтяря» было. Их расчеты несчетное количество раз меняли. Пара минут – и нет ребят.

Но не от страха я к немцам убежал, а от ненависти! Хотя, конечно, был и страх, но ненависти все-таки было гораздо больше. Один вопрос в башке как молоток по железу стучал: за что?!.. За что я воюю и кого защищаю? Тех упырей, которые за простую драку мне пять лет вlepили?.. Или за тех, кто меня в лагере охранял?.. А на свободе разве легче жилось?.. На кирпичном заводишке платили гроши, мне свой дом – хотя от дома в той халупе только название и было – отремонтировать нужно, а на какие шиши, спрашивается? За что не схватишься – нет денег, о чем не подумаешь – снова нет денег, о чем вслух заикнешься – опять нет денег.

Одна моя блаженная женушка и сынишка только и были счастливы в той проклятой жизни... Если к «картошке в мундире», есть подсолнечное масло и стакан молока – улыбаются; два метра ситца купили – счастливы; кроликам сена накосили – словно сами наелись.

Да, я к немцам не просто так подался, я служить им пошел, чтобы, наконец, человеком себя почувствовать. Скажешь, ошибся?.. Скорее всего, да. Ведь они за людей таких как я не считали. Но и не пожалел!.. – Мишка привстал с

кровати, выпячиваю худую, узкую грудь. Он закашлялся и сквозь хрип выдавил: – И сейчас не жалею. К черту все!.. Если нет сносной жизни – огрызки мне не нужны. Я жить раздавленным не хочу и не умею, понимаешь ты или нет!?!..

– В каком смысле раздавленным? – спросил «Майор» не без интереса всматриваясь в темные глаза Мишки.

– В прямом!.. Если уж родился на белый свет – живи. И моя жизнь принадлежит только мне. Вы социализм строите?.. Так это не социализм, а Вавилонская башня какая-то. Все равно все рухнет, все равно вы все разбежитесь в разные стороны и только пустое поле после вас останется.

Раз за разом монологи Мишки «Вия» переходили в спор. Сначала «Майор» горячился, но со временем стал спокойнее воспринимать доводы Мишки. Он вспоминал, как воевал сам... Он вспоминал дураков-начальников, провальные, полуграмотные операции (меньше взвода от роты после суток боя – это еще что, было и хуже!) и много чего еще.

Война она и есть война... Ее не переиграешь и ничего в ней не исправишь.

## 8.

«Майор» вытер свое лицо широкими ладонями и поморщился, словно угодил им в паутину.

– Словно тьма какая-то во мне после таких бесед появи-

лась, Коля... Вроде бы и жить она не мешала, но на мир я уже другими глазами смотрел. Мне стало казаться, что Мишка прав во многом... Образно говоря, словно опору я под ногами терять стал, а внутри все так перемешалось, что не понятно, где правда, а где ложь. Например, как в моей прошлой жизни с женой было?.. То есть не с женой, а, ну, вообще... Как-то раз спьяну поперся я в женскую общагу. А что спрашивается?.. Молодой, красивый и к тому же старший лейтенант милиции. Защитник закона, так сказать. Выпил много, сильным себя чувствовал, хорохорился, как драный воробей и не понимал, почему надо мной женщины смеются?.. Как не кокетничал я с дамами, в ответ – одни насмешки. Да оно и понятно... Я же не за чем-то серьезным к женщинам приперся, а просто позубоскалить, может быть, приобнять и, может быть, даже в щечку поцеловать. А потому и смеялось надо мной все общежитие. Милиционер, может быть, я и удовлетворительный был, на «троечку», но в смысле житейской хитрости – как был простаком, так и остался.

Утром просыпаюсь я в своей постели, смотрю на голую спину жены и думаю: это что же такое я вчера творил?! Зачем? Нет, ничего плохого, в смысле хватания руками и матерщины, все-таки не было, но разве от этого легче? Вроде бы уважали меня раньше люди, а что теперь?.. И такой стыд меня жег, что я даже похмелья не заметил.

Даже Валентина спросила: что это ты, мол, сегодня такой молчаливый и виноватый?

А я молчу... Что ответить-то? Я, Коля, тебе про опору под ногами уже говорил, вот тогда она тоже исчезла. То есть в пустое место превратилась. А жена словно даже обрадовалась... Мы ей в тот же день пальто новое купили и платье. Таскался я за ней по магазинам как пес побитый до самого вечера. Уже ночью в постели снова смотрю на спину жены и снова переживаю... О чем? Обо всем и на душе – ничего кроме пустоты. Вроде бы жена на мою пьянку не обиделась, вроде бы начальству о ней не сообщили, но плохо все, очень плохо!..

После бесед с Мишкой словно заново оголился этот мой стыд... впрочем, это уже не стыд был, а что-то другое. Темнее, больше и... глубже. Лежу я в медсанбате на койке, смотрю в одну точку, (только спины жены перед глазами и не хватает!) и думаю: ладно, тебя Валентина бросила, а сам-то ты, что, святой что ли всегда был, а?!.. А еще как людей на немецкие пулеметы посылал, не забыл?.. Короче говоря, многое я припомнил, в том числе и кое-какие сомнительные дела в «Смерше».

В общем, всего хватало... А совесть – штука тонкая. Как-то раз, еще до войны, от одного священника странную фразу услышал, дословное ее не помню, но звучала она примерно так: мол, сила и слава Божья в великой человеческой слабости свершается. Я тогда только посмеялся в ответ, а теперь вдруг понял – да!.. Не знаю, как там с Божьей силой и славой, но с совестью так всегда бывает. Сила в человеке – как

прочные суровые нитки для сапога. Сшил кожу, стянул потуже нитки – и готово, не расползется. А если ослабнут нитки, что тогда?.. Вода в сапог просочится. Но сапог – ладно, а если в человеке другие «нитки» ослабли? Тогда словно весь мир в него хлынет, без разбора, как в бездонную яму. Ну, а ежели Бога нет, кто и что тебе поможет справиться с этим потопом?..

Что странно, я на все свои душевные переживания как бы со стороны, чужими глазами смотрел. Словно не я, а какой-то другой человек по темным и пустым коридорам бродил... Он дверь в комнату откроет, а мне в глаза – свет и боль до рези... Кричишь, зачем я это сделал?! Ответа нет. Потом снова коридоры, снова тьма, пустота и снова свет. Я тогда понял, что не только тьма слепит, но и свет. И он тьмой бывает, когда ты не видишь ничего кроме этого света.

Ты, Коля, не удивляйся, но я Мишке «Вию» о своей жене рассказал. Даже про то, как однажды в женское общежитие заглянул и что из этого получилось. Не знаю, просто взял и все выложил. Словно пьяный был... А, может быть, и в самом деле ослабел до дрожи после болезни и письма жены.

Гляжу, Мишка смеется:

– Идиот ты, капитан!.. Тут даже дурак понял бы, что твоя женушка тебя и раньше не особенно сильно ценила и что ты – извини, конечно, – рога свои честно заслужил. Подумай сам, ну, какая честная баба своего мужа утром по магазинам потащит, если он вечером пьяный приперся? Только та, ко-

торая все понимает и которой ты – уж точно по фигу. Ей лишь бы свое урвать.

Мне даже полегчало немного... В смысле, мол, может быть, не так уж я и виноват был?

Мишка дальше говорит:

– ... Так в жизни и бывает. Кто дурак – тот тем, кто поумнее, служит. Ты пойми, не такая уж я и сволочь в подобных рассуждениях, просто мне обидно за человеческую глупость.

Я чуть спохватился и спрашиваю:

– А у немцев ты много ума и правды нашел?

Мишка кричит:

– Плевать я на нее хотел, потому что никакой другой правды кроме звериной не существует. Она – да, она – сила, которая вашу солому ломит, – Мишка снова приподнялся, горделиво выпячивая худую грудь. Его глаза лихорадочно заблестели. – Мало, мало вас гвоздили, мало из вас социалистических гвоздей наделали! Да вы бы, сволочи, хотя бы сами себя пожалели!.. Один хомут сняли – два нацепили. По идеям равенства жить хотите? Тогда всех топором ровнять нужно, причем по головам.

«Вий» замолчал, вперив в «Майора» ненавидящий взгляд. Тот молчал. Мишка убрал локоть, на который опирался, и обрушился на кровать.

– Повторяю для дураков, нет никакой правды кроме звериной... И быть не может.

«Майор» хотел было спросить: а из боевого охранения

с оружием ты к немцам за звериной правдой ушел? Но не стал... Сильно болела голова, ломило под лопаткой и пол, казалось, медленно покачивался, уплывая в какую-то неведомую даль.

«Сволочь... – подумал «Майор» о «Вию». – Самая обыкновенная, грязная сволочь. Такая свинья из грязной лужи выберется, отряхнет и, вроде как, снова чистой сама себе покажется».

Он дал себе слово не приходиться больше к Мишке.

«Это же не работа, а философия с предателем получается, – рассуждал про себя «Майор». – Словно отраву пьешь... Уж лучше водку глотать, чем эту дрянь».

Но на сердце уже легла какая-то странная жалость к Мишке «Вию» почти равная ноющей зубной боли. А еще она была похожа на тонкую, ввевшуюся в кожу проволоку стягивающую руку где-нибудь у запястья. Под нее уже невозможно было загнать кончик сапожного шила и рвануть изо всех сил, не жалея страдающего тела. Уж слишком сильно врезалась она в плоть и почти слилась с ней.

«Майор» удивлялся тому, что с ним происходило... Он и стыдился самого себя и удивлялся собственному бессилию. Но он приходил к Мишке «Вию» каждый вечер и однажды даже принес ему два яблока.

## 9.

«Майор» и мой отец выпили по пятьдесят грамм и закурили. Они молчали, наверное, целых пару минут. Гость рассматривал потолок, отец – дым от папиросы.

– Черт его знает, какие бывают болезни на свете! – вдруг сердито сказал гость. Он резким движением загасил окурок в пепельнице, давя с такой силой, что стекло скрипнуло по клеёнке. – Я тебе уже говорил, что самым трудным было в одиночку из тыла фрицев выбираться... Больным себя чувствуешь и брошенным. Вот и я таким же, в конце концов, стал после общения с Мишкой «Виём». А может, еще и хуже... Когда из окружения выбираешься, хотя бы цель свою знаешь, а тут... Одна гниль и болото вокруг. Много раз пытался в себе злость вызвать, мол, да что это ты?.. Но тут же ответ находил: а ничего!.. С усмешечкой, знаешь такой ответ получался, с издевкой над собой. От таких переживаний у меня по всему телу вдруг черные чирьи пошли. Жуткие просто... Я такие раньше видел, только когда человек в сырых окопах долго сидел. Медсестра во время укола один такой чирей у меня на спине увидела – даже вскрикнула. Арон Моисеевич меня осмотрел – нахмурился... Мне в глаза посмотрел так, словно что-то выискивал. Спрашивает меня: «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» Я отвечаю: «Вроде,



нормально...» А он вздохнул и говорит: «На войне, молодой человек, никто нормально себя чувствовать не может. Даже в медсанбате». Ну, и выписал меня, как он сам выразился, «на свежий воздух, и чтобы я по всяким дурным подвалам не шатался». К ним, в медсанбат, я только на осмотры, уколы и перевязки являлся. И ты знаешь, полегчало!..

На кухню вошла мама. Она сердито погрозила отцу пальцем и, обращаясь уже ко мне, сказала:

– А ну, марш отсюда!..

Мне удалось вернуться на кухню только через долгие десять минут. Отец и «Майор» не обратили на меня ни малейшего внимания. Отец разливал водку по стаканам и деловито щурился, доливая то в один стакан, то в другой, а «Майор» снова дымил папиросой и смотрел как во дворе мама развешивает белье на длинной веревке.

– Красивая она у тебя, – сказал «Майор». Он улыбнулся и переведя на отца вопросительный взгляд, спросил: – И характер сильный, наверно?

– Ничего, я справляюсь, – улыбнулся отец.

– Это хорошо, – улыбнулся в ответ гость. – Хорошо, когда один сильный, а другой справляется, но еще лучше, если такие оба...

Они выпили, не чокаясь и «Майор» продолжил:

– ... Короче говоря, с того времени, как Николай Егорыч узнал, что Мишка «Вий» сам расковыривает раны на ноге, чтобы кость и дальше гнила, он меня больше к нему не под-

пустил. Не знаю, откуда он про мои новые болячки узнал, но добавил, мол, Мишка не только сам на тот свет спешит, но и другого с собой с удовольствием прихватит. А потом наорал на меня: мол, распустился!.. а еще офицер Советской армии!.. пять орденов и четыре ранения!.. это что за похоронный вид ты на свою физиономию нацепил?

А я ноги еле-еле от слабости переставляю. Что странно, улыбчивым стал, как слабоумный деревенский столетний дед. Ребята о чем-нибудь говорят, я подойду, слушаю, но... не знаю... нить разговора уловить не могу. Но не потому, что слаб, а потому что мне это не интересно. Но на воробьев за окном мог часами смотреть. В общем, стал созерцательным, как Будда и тихим, как вода в колодце. Ну, и какой, спрашивается, из такого анемичного дистрофика офицер-контрразведчик?.. Одно название. Вот и списал меня Егорыч в «хозяйственную часть». Мол, дослужишь кое-как, а там мы тебя, за твои ранения, самым первым спишем и иди-ка ты, брат, снова в свою милицию.

Мишка «Вий» суда так и не дождался, в медсанбате умер от заражения крови. Добился своего, иуда!.. Когда акт о смерти составляли, я его последний раз видел. Совсем в скелет превратился... Грудь не шире двух ладоней, но выпуклая, словно в нее тряпок напихали. И на лице все та же гордая и страдающая усмешка.

У меня еще тогда мысль в голове странная мелькнула, мол, настоящий Иуда тоже, наверное, страдал, потому и по-

весился. Только он вряд ли чему-то усмеялся... Видно изменились сильно люди с тех пор.

Там, в подвале, мы еще акт не закончили, а меня вдруг тошнить стало – рванул в дверь так, что Арона Моисеевича чуть с ног не сбил. Возле двери, едва выбежать успел, с такой силой меня изнутри наизнанку вывернуло, что два огромных чирья на спине от натуги лопнули. Это я уже потом понял, когда почувствовал, что у меня по лопаткам течет так, словно из стакана плеснули.

Арон Моисеевич на перевязку зашел, посмотрел и говорит:

– Ну, что ж, жить будете.

Я спрашиваю:

– Как долго, доктор?

Арон Моисеевич только плечами пожал:

– В данный момент многое от вас зависит. Вы только не сдавайтесь, пожалуйста.

Я только виновато улыбнулся в ответ. Не сдавайтесь?.. Кому не сдавайтесь? Той темной бездне, которую я вдруг в себе открыл? Так она, эта бездна проклятая, в плен никого не берет...

## 10.

– ... Так, в общем, и жил, – продолжал «Майор» свой рас-

сказ. – Мы уже в Германии были. Наши ребята, да и вообще, все кто мог, кое-какое барахлишко собирали... Не брезговали. Потому что война половину Союза с лица земли стерла и дома у многих дети досыта не ели. Да и вообще... Но глядя на то, как ребята барахоят я все чаще Мишку «Вия» вспоминал, его рассуждения о жизни и легче от этого мне не становилось...

Помню, два солдата из-за чемодана с женским бельем разодрались и ни как-нибудь, а чуть ли за оружие не схватились. У обоих – ордена, оба на фронте чуть ли не по два года и жизнью не раз рисковали. А тут женские розовые трусы с кружевами и какие-то похабные ночные рубашки с вырезами, наверное, до пупа. Что делать, спрашивается? Командиром роты у солдат совсем пацан зеленый был, знаешь, такой ретивый, что ты ему только хомут покажи, он в него сам голову сунет. Такой особенно задумываться не станет... Думаю, про себя, отпускать ребят нужно, не в штрафбат же в конце войны их сдавать... Рот открыть не успел, как вдруг один из них говорит: «Что другим можно, а нам нельзя, да?!..» Второй тут же: «Нам только и достался, что этот чемодан, а все остальное комбат забрал». И обида в глазах!.. Такая обида, словно мир рухнул.

– Отпустил их? – с надеждой спросил отец.

– Куда же их еще девать-то было? – пожал плечами «Майор». – Обматерил в три наката, еще сверху два экскаваторных ковша нехороших слов насыпал и отпустил.

«Майор» немного помолчал. Закурил и показал отцу глазами на стакан. Тот суетливо потянулся за бутылкой.

– В общем, – продолжил «Майор». – Поскольку перевели меня «на хозяйство», наши ребята в мою каптерку все и тащили. Что бы подсобить для большой посылки, а потом домой отправить. Обрыдло мне все это горше редьки уже за неделю и так, что я у Егорыча на прежнюю работу проситься стал. Ну, или на фронт... А что, спрашивается?.. На фронте, если разобраться, вот отсюда... – «Майор» постучал себя пальцем по лбу. – Все лишние мысли как помелом выметало.

Но Егорыч только заулыбался в ответ и говорит мне:

– Какой тебе фронт?.. Наши Берлин вот-вот возьмут. Кстати, нашли мы одного человека из того лагеря, помнишь?

Я удивился и спрашиваю:

– Какого человека?

Егорыч поясняет:

– Из лагеря, о котором твой Мишка «Вий» рассказывал. Пусть одного, но все-таки нашли. Других война выбила начисто. Правда, дело уже закрыто и ни как-нибудь, а сверху. В общем, поздновато нашли человека и дергать его мы не будем.

Но я все равно заинтересовался. И, наверное, потому что никак мне легче не становилось. Ни сил не прибавлялось, ни настроения, ни уверенности в себе. По ночам – одни кошмары, днем в сон от слабости клонит, а тут еще и работка эта сволочная – возле чужого барахла топтаться.

Но главное, все-таки, мысли... Подхватит меня тьма и несет черт знает куда. Например, я тех двух солдат, которые из-за чемодана подрались, часто вспоминал и словно с разных сторон их рассматривал: то спокойно и чуть ли не с улыбкой, мол, чего с дуру люди не наделают; то злился на них и тогда мне совсем худо становилось. Словно подтверждали они что-то из «философии» Мишки «Вия» о звериной правде жизни, пусть и неумело, даже наивно, но все-таки подтверждали.

Как-то раз сижу в своей «каптерке» и бездумно спички на столе рассматриваю. То «ежика» из них выложу, то птичку какую-нибудь... А потом взял две, серные «головки» им отломал, одну покороче сделал и в крестик их сложил. Смотрю на него, и такая великая жалость меня вдруг за сердце взяла, что... стыдно признаваться, слезы по щекам потекли. Всех на свете людей я в ту минуту жалел, даже немцев немного, особенно из гражданских... Прав был тот священник, который о великой слабости говорил, есть в ней какой-то удивительный и светлый смысл. Не напряженный, что ли?.. Глаза этот смысл не слепил, не мучил и по живому не кромсал... – «Майор» потер ладонями лицо. – Это не объяснишь даже... Таких слов еще не придумали, потому что невесомое – не взвесишь, а невидимое – не опишешь. Словно внутри меня человек сначала на коленях стоял и землю рассматривал, а потом стал медленно поднимать глаза к небу...

Я суровой ниткой крестик из спичек перевязал, в целло-

фан завернул и в нагрудном кармане спрятал. Я бы тогда и настоящий крест надел, только где же его – я имею в виду наш, русский – в Германии возьмешь? Не у солдат же выпрашивать. К тому же запасных с собой ни у кого было. Тот крестик после войны долго в кармане кителя лежал. Правда, в карман тот я не часто заглядывал...

## 11.

– Семен, ты про человека того из лагеря рассказывать начал, – напомнил отец. – Который живым остался.

«Майор» закивал головой.

– Да-да... Поднял я тот ответ на наш запрос... В общем, получалось, что Иванов Сергей Сергеевич действительно находился в том лагере. На фронт пошел добровольно. Был дважды ранен, первый раз легко, второй раз – тяжело, когда наши немцев под Сталинградом прикончили и на Харьков шли. Попал в госпиталь, где ему ампутировали ногу ниже колена. Награды: орден «Красной звезды», медаль «За отвагу» и «За боевые заслуги». Даже копии наградных листов прислали и ответ начальника милиции из подмосковного городка, в который Иванов вернулся: мол, такой-то ни в чем предосудительном не замечен; имеет на иждивении двух дочерей 37-го и 39-го года рождения, неработающую жену-инвалида и престарелую мать.

Уже ночью, когда, как правило, я своей черной меланхолии предавался, я лежу и думаю: как же ты сейчас живешь-то, Серега Иванов?.. Сейчас и здоровым тяжело, а инвалиду с таким семейным «возом» только и остается, что в нищете захлебнуться.

Уколола меня эта мысль очень сильно – до самого сердца. Всех война выкосила, один солдат Иванов выжил, да и тот инвалид. Что же мне делать с тобой, брат?..

«Майор» замолчал, уронил голову на грудь и положил на стол два огромных, крепко сжатых кулака.

– Понял, да?.. – «Майор» поднял голову. Он сурово посмотрел на моего отца, словно ждал возражения. – Я Серегу братом назвал сам не знаю почему, может быть, из секундной жалости, может быть, из сочувствия к собственным переживаниям, может быть... не знаю... Но назвал же, и эта жалость уже от меня не ушла, – в глазах гостя мелькнул вызывающий, хмельной огонек. – Что мне всему, что у меня в башке происходит, объяснения искать надо? Впрочем, может быть, эта жалость потому и осталась, что как спасительная соломинка перед утопающим, перед самой моей физиономией всплыла.

С Мишкой «Виём» у меня по дурному получилось. Заболел я от него, что ли? Но не жалостью, а чем-то другим... Чем-то таким, что похуже венерической болезни будет. «Вий» чужим был для всех, от своих по доброй воле ушел, и не было в нем покоя, словно какая-то безумная сила его мозги ложкой перемешивала. А с другой стороны, Миш-



ку даже злым назвать было трудно... Помню, в медсанбатовском подвале он то закипит как чайник, то вдруг остынет и станет вспоминать, как до побега к немцам хлеб в окопе со своими ребятами делил. Улыбался даже... Мишка мне в такие минуты человека возле ночного костра напоминал: тьма, шатер желтого света, а вокруг, у огня – люди... И Мишка – такой же как все. И такие же заботы, радости и проблемы у него, как у всех. Вот и попробуй понять кто есть кто из нас...

«Майор» нагнул голову и приблизил свое лицо к лицу отца. Его глаза горели каким-то лихорадочным огнем.

– Выиграл у меня Мишка «Вий», понял, Коля?.. Выиграл, все выиграл! Уж не знаю, в какую игру мы с ним играли и как я на нее согласился, но так все и случилось. Сначала я его по душевной слабости прощать стал – из-за жены – а потом, что-то вдруг треснуло во мне самом, как несущая балка на потолке. Виноватиться я стал, но перед кем?.. Не перед Мишкой «Виём», конечно, а перед пустотой, которая за его плечами. Может быть, то и была его звериная правда жизни?.. Ты думаешь, я крестик из спичек даром сделал?.. Искал я, понимаешь? Внутри самого себя все обшарил и ничего нового не нашел... А что нашел... Так... Чаше это пьяный бред был, реже – детские воспоминания и волнистая дорога, по которой я на велосипеде гонял. Но этого мало было...

А что у меня вообще было?.. Крестик из спичек и не настоящий брат Серега, которого я ни разу в жизни не видел. Сначала я про себя его братом назвал, потом – вслух, так,

чтобы все слышали. И сразу мне легче стало... Здорово легче! А знаешь почему?.. Все наши ребята вещички «до дома» собирали, а я – нет. Зачем они мне, если у меня теперь ни жены, ни кола, ни двора? А вот когда у меня брат появился, то вместе с ним и цель в жизни возникла. Почему бы брату-инвалиду не помочь? Я и сам не заметил, как стал свою кучку барахла собирать.

Первым мою «тайну» Николай Егорыч открыл. Я ведь раньше никогда о брате не рассказывал, а тут вдруг, ни с того, ни с чего с вещами для него засуетился.

Заулыбался Егорыч и говорит:

– Шут его знает, может быть, твой мозговой вывих и тоску так и надо лечить? Ну, не в штрафную роту же тебя, старого пса, отдавать за то, что ты нюх потерял и клыки сточил. Давай-давай, копи, может, оттаешь и к бутылке не так сильно прикладываться будешь.

Война кончилась... Салют был такой, словно мы последнюю психическую атаку фашистских чертей с воздуха отбивали. У всех – одна радость великая, ведь все, конец смерти!.. Но вместе с радостью меня, как старика, то и дело на слезу прошибало. Вспоминал тех, кто погиб и от бутылки оторваться не мог. В пьяном бреду Мишка «Вий» снова мерещился. Усмехается, подлец, и спрашивал: чему вы радуетесь-то?.. Тому, что в сорок первом и сорок втором втрое больше людей положили, чем нужно?..

Раньше мне с ним трудно спорить было, но теперь...

странно, правда?.. кое-какая силенка в мозгах появилась. Пошел ты, говорю ему, тварь фашистская, в могилу к своему хозяину Гитлеру. Не могла наша война быть другой, потому что бандит на дороге всегда сильнее запоздалого прохожего. Бандит и к драке готов, и к убийству, а что прохожий?.. Тот о своих мирных делах думает, а не о том, как бы убить и ограбить. Кроме того, товарищ Сталин Гитлера как политика просчитывал, но тот обыкновенным сумасшедшим оказался. А сумасшедший с топором всегда неожиданно появляется и потому и справиться с ним нелегко.

Наша часть в Берлине стояла. Уже после 9 мая разведчики завалы бывшего магазина разгребли, склад нашли и чего там только не было!.. Я одним из первых в нем оказался. Что удивительно, я словно в склочную бабу превратился – толкаюсь, вперед рвусь, хватаю все, что под руку попадет... – «Майор» закрыл лицо рукам, засмеялся, и простонал: – Ну, оду-у-уреть!.. Потом, какой-то полковник-интендант появился и как все поняли – с полномочиями. Какое-то подобие очереди и порядка установили. Стою я, значит, в этой очереди и снова мне глумливая Мишкина физиономия мерещится... А потом еще противнее стало, потому что я тех двух солдат вспомнил, которые из-за чемодана с дамским бельем подрались. Взмолился про себя: спасибо тебе, Господи, что отвел от греха, что ума у меня хватило отпустить ребят. Сам-то ничем не лучше оказался, а, вполне может быть, и хуже их...

Пару чемоданов я нашел – просто безразмерных каких-то.

Вот в них и складывал свою добычу. Николай Егорыч расспросил меня о семейном положении брата, наверное, что-то шепнул ребятам и у них в традицию вошло вещи мне приносить. Ну, в смысле, вроде как лишние для них...

Платьев для девочек целый ворох набрали. Но чемодан набивали с умом и так решили: допустим, женские платья лучше брать размером побольше, велико будет – легко ушить, и детские тоже – разных размеров. Если, допустим, сейчас девочке восемь лет, а что, спрашивается, она будет через пару лет носить? Ведь растут же дети... Хотя, конечно, такого «приданого» на все девчачьи возрасты не накопишь. Поэтому нужно и ткань брать. Хорошую ткань, и чтобы надолго хватило.

В итоге набил я полтора чемодана одеждой, кой-какой мелочью и еще половину – консервами. Вес получился – пуда на четыре. В июле первая волна демобилизации пошла. Вообще-то, мне второй волны было положено дожидаться, но Арон Моисеевич помог, такую справку мне написал, что... Я его просил, вы, мол, главное, не перестарайтесь, а то меня на работу не возьмут. Но врач только отмахнулся, мол, не мешай работать умным людям. Я его спрашиваю, а осматривать вы меня будете?... Арон Моисеевич ворчит: я после июня 1944 года могу, не глядя на тебя, такой медицинский «роман» написать, что сам Толстой позавидует.

Когда возле палатки главврача курил, наши ребята подходить стали – прощаться... Хотя отбил я в последнее вре-

мя от нашей офицерской компании и стал кем-то типа паршивой и хмурой овцы, прощались от души. Каждый с улыбкой твердит: «Брату привет передавай!» Не сомневаюсь, что снова Егорыч их подослал. Ну, чтобы теплее мне стало, что ли?.. Все всё понимали и что болен я, и что никакого брата у меня нет и что, может быть, пушу я себе пулю в лоб, еще не доехав до России. Мама моя в сорок третьем умерла, детей с женой у нас не было так что в смысле опоры в жизни у меня полный ноль получался.

## 12.

«Майор» приподнял пустую бутылку и вопросительно взглянул на отца. Тот молча кивнул и достал их холодильника очередную.

Они выпили. Вместо того, чтобы закусить, «Майор» занюхал выпитое коркой хлеба и сунул в рот папиросу. Какой-то время он рассматривал пустой стакан и сказал:

– Плохо берет, зараза!.. Я вот что тебе скажу, Коля, все-таки есть в русской пьянке какое-то волшебство. Честное слово есть. У нас ведь как?.. Бывает, что из трезвого человека слова не вытащишь, а с этим... – «Майор» кивнул на пустой стакан. – Легче, что ли?..

Дом названного брата своего Сереги Иванова я без проблем нашел. Так себе домишко оказался, сразу видно, что

старый и руки к нему давно не прикладывали. Это я о крыше в первую очередь говорю... Но, если хозяин только одной ногой командует, такой «фронт» уже ему не по силам.

Дверь не заперта была, вошел в дом. Сразу понял – на кухню попал. Налево – дверь в комнату, направо – в другую. Вот и все хоромы. Еще людей за столом толком не рассмотрел, женщину и двух девочек, только чемоданища свои на пол поставил – поздоровался. В ответ – молчание... Я на хозяйку смотрю, а она на меня. Мужик средних лет у печки сидит и, видно, обувку какую-то ремонтирует. Ну, думаю, вот он мой брат!.. К нему я и приехал.

Я в кулак кашлянул и говорю на смеси канцелярской тарбарщины и командного баса:

– Уважаемый Сергей Сергеевич! Ваши однополчане не забыли ваш подвиг в марте 1943 года. У деревни Рощупкино вы подбили из ПТР танк, а второй забросали бутылками с зажигательной смесью...

Про подвиги Сергея я в наградном листе прочитал, но одно дело прочитать, а другое дело вслух об этом сказать совершенно незнакомым людям. И чувствую я – ерунду говорю, причем не в смысле фактов, а в смысле того, что я, с этими канцелярскими фактами как последний дурак выгляжу.

Вдруг женщина спрашивает:

– Кто забросал?.. Кого?

На худом, больном и темном лице – полное недоумение. Но мне почему-то немного легче стало. Вопрос ведь не пол-

ное молчание и пусть даже тебя пока не понимают, на то и язык дан, чтобы все объяснить.

Я говорю женщине:

– Ваш муж уничтожил два немецких танка прорвавшиеся в тыл к командному пункту дивизии. А там не только генерал был, а еще кое-кто повыше. Они подвиг вашего мужа видели... И не забыли. Теперь ваша дивизия в Германии стоит. Вот вспомнили героя и... – нагибаюсь за чемоданом, кладу его на табуретку и открываю: – Это все вам!

В чемодане – грудa банок консервов и цветастые платья. С учетом размеров чемодана и двух пудов его веса грудa совсем не маленькой оказалась. Правда, все чуть ли не впере-мешку, потому что некогда мне было в чемодане порядок на-водить. По тем временам такое богатство – настоящим кла-дом было, а клады, как известно, всегда в полном беспоряд-ке пребывают.

Сергей встал, к чемодану подошел... Смотрит и молчит.

Жена его растерянно говорит:

– Мы же и не просили ничего...

Понятное дело, что не просили. А объяснить такой огром-ный подарок тем, что генералы солдатский подвиг вспомни-ли тоже как-то... ну, не очень правдоподобно.

Взял я из чемодана бутылку французского коньяка и на стол – с вызывающим стуком – бац!.. Потом пару банок кон-сервов рядом положил и свои документы. Я ведь даже не представился, потому что волновался как мальчишка. А вол-

новался, потому что... Хочешь верь, Коля, хочешь – нет, но мне... – «Майор» постучал себя ладонью по лбу. —Мне казалось, что я все вру. Нет, с подвигом Сергея все нормально было, в наградном листе правду, конечно же, написали, а вот со мной что-то явно не то творилось... Стыд жесть начал такой, словно я от хозяев что-то важное скрываю.

Заулыбался я через силу, на коньяк кивнул и говорю:

– Просили – не просили, но гостя встречать нужно.

Сергей на меня глаза поднял... Смотрит, словно спросить что-то хочет, но не решается. Но все-таки улыбнулся в ответ и на стул кивнул:

– Садитесь, пожалуйста...

Пока не выпили по полстакана, я не знал куда руки деть. Потом разговорились... Я Сереге немного о себе, он – о себе... Как доехали? Что видели?... И, вообще, вы как тут живете?

– Да вроде бы ничего живем, – говорит Серега и на жену кивает: – Вот, у Тани уже все хорошо. Осенью в школу перwokлашек учить пойдет, – и тут же повторил мне, как глухому: – все хорошо теперь!..

Я на его жену повнимательнее взглянул... Видно, сильно война ее задела: лицо неподвижное, темное, только бледные щеки высвечиваются. В мою сторону не смотрит. Когда от кухонного стола к печи отошла, лучины для растопки нарезать стала. Руки – дрожат, а губы что-то неслышимое шепчут.



Я про себя думаю: «Что же с этой женщиной раньше было, если теперь все хорошо?..» Не щадила людей война ни на фронте, ни в тылу. И не только пули и осколки людей калечили. Разное было...

Не знаю, может быть, я на Серегу со слишком большим интересом смотрел, вот он меня и спрашивает:

– Расспросить о чем-то хотите?

Он еще фразу закончить не успел, а я ему сразу – «Да!»

Потом поясняю:

– Лагерь в котором вы были... Расскажите о нем, – и дальше тараторю чуть ли не взхлеб: – Понимаете, я последнее время в «Смерше» служил...

Короче, обо всем ему рассказал и даже о Мишке «Вие», но о последнем только вскользь. Мол, информация о восстании в лагере от него к нам попала. Дело уже закрыли, бояться вам нечего, но все-таки я хотел бы понять... Что понять толком так и не сказал.

Сергей спрашивает:

– А другие что говорят?

Я поясняю:

– Нет других... Только вас я нашел.

Серега, конечно, о лагере не сразу рассказывать начал, наверное, не доверял мне или просто ему трудно было начать, но посидели мы еще немного, и он все-таки начал:

– Да, в сущности, все так и было, как вам этот... как его?..

Я подсказываю:

– Мишка «Вий».

– ... Как он рассказал. Тут мне особенно и добавить-то нечего. И драка была, и пожар и комиссия из начальников на следующий день приехала.

Меня вдруг какая-то заноза в самое сердце кольнула: выходит, не врал Мишка?!..

Серегу продолжает:

– ... Мертвую девчонку ту, дочь начальника лагеря, утром возле проволоки нашли, а недалеко, то есть ближе к входу в хозблок – котелок с кашей. Видно, жалостью ее наружу выманили. Имелись среди блатных спецы по такому женскому чувству.

Лежала она на земле как изломанная кукла... Кладов на колени возле дочки стал и руки над ней, словно курица крылья над птенцом растопырил. Когда девочку на руки брал, видно было, что руки у него почти не сгибаются. Нес ее так, что казалось, вот-вот она выскользнет... Через час из барака вышел, глаза – темнее ночи. На плече – автомат и кобура расстегнута.

Я Серегу перебиваю:

– Сколько человек расстрелял? Пятерых?..

Серегу:

– Никого. Поверх голов две очереди дал, шапку с одного сбил, но все живы остались.

Я переспрашиваю:

– А ты не ошибаешься?

Сергеа говорит:

– А как я ошибусь, если я в той пятерке на коленях перед Кладовым стоял? И даже вроде как умер, когда в лицо порохowymi газами ударило, и над головой пули засвистели. Потом Кладов говорит, мол, завтра по-настоящему с вас всех спрошу... И ушел. А вечером драка между «блатными» началась...

Я перебиваю:

– Подожди, а как же второй расстрел?

Сергеа:

– Какой второй?

Я:

– Ну, утром, Кладов вас снова собрал?

Сергеа:

– Не мог он нас собрать, потому что все к тому времени уже кончилось. Заместитель Кладова Ерохин понял, что что-то не то с начальником и еще днем позвонил начальству. Начальство на следующий день, рано утром, приехало.

Я удивленно:

– И значит драка первой же ночью была?

Кивнул Сергеа:

– Да, ночью... Но не только из-за Кладова и его дочки. У блатных для драки и другие причины были. Много причин. У них в первом бараке «вор в законе» Тимоха командовал, а во втором – Саня «Черный». Тимоха «коронации» Сани «Черного» не признавал, мол, не вор он, а отморозок и про-

щельга дешевый. Не ладили они между собой, очень сильно не ладили. Говорили, что Тимоха по зонам «маляву» пустил насчет «Черного». Я, конечно, не совсем в курсе их дел был, но кое-что своими глазами видел. Например, блатные из первого барака в столовую не заходили, если там люди из второго были... Ну, и вообще... До драки у них и раньше не раз доходило. Тимоха говорил, что это все, мол, из-за «Черного», это он воду мутит, потому что разную шантрапу возле себя собрал.

В ту ночь, когда блатные дочь начальника лагеря схватили, Тимоха со своим дружкой «Колдуном» в первый барак пошел. Мол, не по воровским понятиям девчонку насиловать, тем более, если это дочка Кладова. У начальника и так характер не сахарный, а после такого зверства он совсем с катушек съедет, всем отвечать придется. А у Тимохи и его ребят никакого желания нет под чужими делами подписываться. О чем они там, в бараке спорили, я не знаю, только наружу ни Тимоха, ни «Колдун» больше не вышли. Утром, когда девчонку нашли ведь еще Тимоха с «Колдуном» пропали. Блатные из первого барака волноваться стали. В общем, буча в лагере еще до расстрела началась, правда, до откровенной поножовщины дело только вечером дошло.

– Трупы тех двух уголовников нашли?

– Нет... Кладову, конечно, утром сообщили, что после переклички двух человек в лагере не досчитались, только ему уже не до этого было. Вечером, только лишь темнеть стало

– драка поднялась... Резались действительно страшно. Саня «Черный» возле себя всякую шваль собрал, а потому эти отбросы за него и держалась крепко. Таких в любом лагере давно под нары загнали бы, но в нашем они совсем по-другому жили и, кстати говоря, к мужикам по дурному относились.

– Кладов драку пытался прекратить?

– Я его не видел... Вроде бы заместитель его Ерохин возле центрального блока метался, но зеки все прожектора камнями разбили, а в темноте разве что только пулеметами без разбора и всех подчистую косить можно было. Когда утром другое начальство приехало...

– Подожди. Второй барак и в самом деле сгорел?

Сергей кивнул.

– Убитых много было?

– Десятка полтора. У тех, из второго барака, блатные все допытывались, где Тимоха и «Колдун». Но многие и в самом деле ничего не знали... Говорили, сначала Тимоху и «Колдуна» в бараке пятеро дружков «Черного» били, а потом наружу их вытащили... Уже ночью. Мол, куда дели – у них и спрашивайте. Но «Черного» еще в начале общей драки зарезали, а дружков его у внешнего периметра часовые из пулемета положили. Видно, поняли они, что конец им пришел, вот и рванули к проволоке. Но на снегу даже без прожектора человека хорошо видно...

## 13.

Сергей говорил ровным, монотонным голосом.

«Словно показания дает, – подумал «Майор». – Но не главные показания, а уже уточняющие... Что же мы с ним пропустили?»

Коньяк все больше расслаблял, мешал думать и сбивал акценты диалога. То, что раньше казалось «Майору» важным, вдруг отступало на второй план, а на первом, из хмельного тумана, вырастала какая-то другая сиюминутная мысль.

«Ну, и черт с ним! – вдруг не без раздражения на себя решил «Майор». – Мы же не на следствии, в конце концов...»

Когда кончилась первая бутылка коньяка, «Майор» открыл вторую. От волнения не осталась и следа. Он слушал внимательно, иногда перебивая собеседника привычными для него, профессиональными вопросами, но его мысль снова и снова скользила куда-то дальше, словно пытаясь отыскать в ответах какой-то другой смысл. Искала и не находила...

– В ночной драке участвовал?

– Было дело... У меня в лагере дружок был хороший. За-резали его блатные Сани «Черного»... Я тогда злой на них был, как черт.

– В армию сам пошел?

– Сам.

– Других принуждали?

– Блатных особо не принудишь. А мужики не то, чтобы с большой охотой, но все-таки тоже сами шли...

– ... Боялись, что блатные в другом лагере за дружков спросят?

– За Саню «Черного» не спросили бы... За Тимоху и дружка его – да, могли, но не за этих отморожков. Так что страшиться было особо нечего. Больше обычной лагерной жизни боялись – лесоповала и голодухи.

«Майор» мысленно сравнивал рассказы о восстании в лагере Мишки «Вия» и Сергея.

– Слышь, Серега, а мог бы Кладов на второй день заключенных и в самом деле расстрелять, если бы начальство не приехало?

– Наверное, мог бы, – почти не думая ответил Сергей. – Он же совсем не в себе был...

– В каком смысле не в себе?

– Ну, с ума он сошел. Он с мертвой дочкой, как с живой разговаривал. Говорил ей, мол, все хорошо будет, когда он с делами своими разберется. Дочку на кровать уложил и рядом с ней, как с больной сидел... Это не один Ерохин видел. И фельдшер, и кое-кто из охраны тоже... Да и сам Ерохин не стал бы наверх звонить, если бы с Кладовым все хорошо было. Утром его в одном белье подняли... Рядом с мертвой дочерью, на полу спал. Когда к машине вели он подушку с

собой нес. Из нее перья сеются, а Кладов ее к груди прижимает, бормочет что-то и на барак то и дело оглядывается. Потом, когда его в машину сажали, он головой в подушку уткнулся и заплакал. Это даже я видел...

Сергей немного помолчал.

– Я потом не раз его вспоминал... Все понять не мог, что это за мера любви такая, когда... Ну, в общем, когда все в человеке уже закончилось, а он все равно... не знаю... он все равно словно все еще верит во что-то... В то, что умерло и чего уже нет... Мужик он был, понимаете?

– Нет. Поясни.

– Ну, не знаю, как тут лучше сказать... Вот чем блатной от мужика отличается? Тем, что блатной в свою правду жизни верит, а мужик к прежней своей жизни вернуться хочет и иного смысла или правды для него не существует. Кто-то, возможно, скажет, это, мол, он так из-за страха... а я думаю нет... точнее, дело не только в страхе. Ведь какая мера человеку отмерена, что именно тебе отмерено и зачем даже сам человек не знает.

«Майор» вытащил из нагрудного кармана самодельный крестик, завернутый в целлофан, и положил его на стол.

– Ты об этой мере говоришь, что ли?.. – спросил он.

Сергей какое-то время рассматривал крестик и сказал:

– Наверное, о ней... Крестик-то не настоящий, из спичек. Сначала люди спички сделали и только потом... – Сергей взглянул на «Майора» и чуть заметно улыбнулся. – ...



И только потом крестик из них. Спички – правда, и крестик – тоже правда... точнее даже не правда, а истина. Знаете, в чем их различие? Правда может быть оружием, а истина – нет. Правду можно поднять над головой и прокричать о ней, а истина...

Сергей замолчал.

«Майор» вдруг вспомнил, как осенью сорок первого выходил из немецкого окружения и почему-то кивнул, слушая молчание хозяина дома.

... Они больше не говорили о лагере и о войне. Разговор вдруг стал совсем легким, захмелевший «Майор» то и дело называл Сергея братом и даже поцеловал его в щеку. Он даже попытался усадить за стол жену Сергея, ласково называя ее Танюшей. Та отказалась, но не ушла...

– Болеет, наверное, да? – еле слышно спросил «Майор» у Сергея.

Тот кивнул и повторил то, о чем уже говорил раньше:

– Сейчас ей лучше. В школу работать пойдет, там уже не до болезни будет.

– И слава богу! – сказал «Майор».

Он очень удивился, переоценивая смысл своей неожиданной реплики, почему-то улыбнулся и подмигнул Сергею.

А потом они просто допивали коньяк... Они говорили о том, во сколько обойдется починка крыши дома, о работе Сергея на сапожной фабрике и о многом другом. Хмельные мысли уводили их все дальше и дальше.

... Утром «Майора» разбудил солнечный зайчик. Крохотное, яркое пятнышко приятно согревало щеку, но, когда оно забралось на веко, «Майор» вдруг увидел яркую, слепящую пустоту.

Он вспомнил, о вчерашнем разговоре и ему вдруг стало стыдно за его финал. Нет, он не наболтал ничего лишнего, просто немного расслабился, но он все-таки был в гостях у малознакомых людей и, наверное, нужно было поменьше болтать языком.

«Вот дурак!..» – обругал «Майор» себя.

Не вставая с постели, он выкурил одну за одной пару папирос. Заботливые хозяева оставили на столе рядом с койкой пепельницу, большую кружку воды и стакан яблочного сока. Сок отдавал немного бочкой, но оказался очень вкусным, хотя и он не улучшил настроение «Майора». Ему казалось, что во время вчерашнего застолья он выглядел высокомерным, крикливым и откровенно глупым. В душе словно заныла старая рана, напоминая о себе привычной, тоскливой болью.

«Снова, снова!.. – мелькнула в голове горькая мысль. – Отдохнул вчера немного и хватит, поехали дальше сердце глодать».

«Майор» встал и нагнулся за тапочками. Его немного качнуло в сторону, и он схватился рукой за гридушку койки. Настроение упало окончательно. «Майор» припомнил лицо Мишки «Вия» и какой-то мутный фрагмент их беседы. Фрагмент был без слов, и казался набором унылых, серых картинок.

«Майор» оделся и пригладив рукой волосы, направился на кухню. Там никого не было. Дверь в другую комнату была чуть приоткрыта.

«Майор» аккуратно постучал и выждав едва ли не полминуты, заглянул.

– Извините, пожалуйста... – начал было он.

У окна стояла молодая женщина. Она стояла спиной к гостю и рассматривала в свете падавшего из окна яркого солнечного света кусок светлой ткани, украшенной крупными розами.

Женщина оглянулась на голос, широко улыбнулась и сказала:

– Это же просто чудо какое-то!..

Женщина протянула «Майору» ткань словно хотела, чтобы он тоже полюбовался на нее.

Сначала «Майор» не узнал жену Сергея Таню. Это была совсем другая женщина – женщина со счастливым и светлым лицом. У нее были прозрачные, чистые глаза и почти детская, простодушная улыбка.

«Красивая какая!..» – удивился «Майор».

– Это вы привезли! – продолжая счастливо улыбаться, сказала женщина.

– Я... – машинально согласился «Майор».

Он кивнул и улыбнулся в ответ. А потом пришло чувство смущения. Оно было таким сильным, что «Майор» чуть покраснел. Чтобы скрыть свое замешательство он принялся рассматривать ткань в руках женщины и даже осторожно потрогал ее кончиками пальцев. Там, в подвале немецкого магазина, он взял первый подвернувшийся под руку рулон ткани и позже не удосужился рассмотреть его. Уже теперь, всматриваясь, он понял, что ткань, пожалуй, не очень дорогая и тонкая едва ли не до полной воздушности.

«Как марля...», – подумал «Майор».

– Тут и девочкам хватит и мне, – продолжила женщина. – У меня до войны было почти такое же по рисунку платье. Только оно было шерстяным и тяжелым.

«Там, в чемоданах, еще ткань есть, – успокоил себя «Майор». – Кстати, один рулон наверняка шерстяной и теплый».

– Пойдемте я вас чаем напою, – спохватилась женщина. Ее голос звучал уверенно и даже требовательно. – Пойдемте, пойдемте!.. Сергей на работу ушел, так что я теперь хозяйка и без чая я вас не отпущу.

Мягкая женская властность оказалась настолько сильной, что «Майор» безропотно прошел на кухню, уселся за стол и терпеливо ждал, пока Таня готовила чай. Она много говорила, много улыбалась, и «Майор» снова не мог поверить в

то, что та же самая женщина с больным и бледным лицом встретила его вчера...

...Он забыл о своем недавно вернувшемся дурном настроении. Оно попросту исчезло, потому что «Майор» очень внимательно слушал Таню, все её, как бы он сам раньше выразился, «женские глупости». Он смотрел на счастливое женское лицо, на ямочки на щеках и когда Таня спрашивала его: «Я же правду говорю, да?..» он торопливо кивал головой.

Чаепитие уже подходило к концу, когда Таня вдруг немного смутилась.

Она внимательно посмотрела на гостя и в ее глазах появился вопрос:

– Я вчера вас слушала... как вы с Сережей разговаривали... и, в общем... странно все это как-то... Сидят два взрослых мужика и говорят о любви. Вот я и подумала: а, может быть, война уже и в самом деле кончилась?

«Майор» чуть было не вскрикнул: «Да вы что?!.. Уже два месяца прошло как кончилась!», но вдруг понял, что слова не нужны и он просто кивнул головой.

– И мы победили в этой войне? – осторожно спросила женщина.

«Победили... – повторил про себя «Майор». – Мы победили, а она до сих пор не поверила в это».

Он на мгновение вспомнил лицо Мишки «Вия». Оно выплыло словно из черной бездны и тут же кануло в нее.

«Майор» улыбнулся в ответ на женскую робкую улыбку и сказал:

– Да, мы победили. И, наверное, поэтому немного поговорили о любви. Не удивляйтесь, пожалуйста, Таня, но мужчины иногда тоже говорят на такую тему.

Нет, конечно же, он не помнил, о чем именно говорили они во вчерашней беседе, но он уже не сомневался, что там было много-много слов о любви. О той любви, без которой немыслима любая победа.

... Свой рассказ моему отцу «Майор» закончил так:

– ...И тут она снова так улыбнулась мне, Коля, что вся моя душевная болезнь в ничто превратилась. Никто ее не мог победить ни война, ни друзья, ни умный Николай Егорыч, ни врач Арон Моисеевич, ни даже брат мой Серега. А вот Танюша эту войну закончила, потому что самое главное увидела... И поверила. А значит мы и в самом деле победили, понимаешь? И больше ничего не нужно придумывать.

... Автор этих строк не был на Той Великой Войне. Но для меня она тоже невольно ассоциируется с картиной: два мужика пьют водку и говорят о любви. Не о войне, а именно о любви и о той мере любви, которая в равной степени дается всем нам. Эти слова о любви очень трудно заметить или припомнить, но они всегда есть. Ведь мы действительно победили в той Великой Войне.



# А Р М И Я Ж А Н Н Ы

Моя мама недолюбливала гостей отца – бывших фронтовиков – впрочем, это было совсем не удивительно. Когда мужчины, мягко говоря, начинали прикладываться к лишнему стакану, они становились шумными и, хотя почти никогда не ссорились, часто переходили на крик. Бывшие солдаты были беспокойны и веселы примерно так же, как бывают непоседливы и егозливы дети, которых усаживают за праздничный, воскресный стол. Кто-то из них вдруг неловко опрокидывал стакан со всем его содержимым, кто-то брал чашку со стола, ставил на пол и кормил кота, а кто-то вдруг начинал азартно доказывать что-то такое, что совсем не было интересно другим.

– Это же просто пираты какие-то! – жаловалась мама.

Такое сравнение невольно вызывало улыбку. И совсем не потому, что лица гостей покрывали шрамы, а у кого-то, как у легендарного Джона Сильвера, была деревянная нога. Наверное, и прежде всего они были похожи на пиратов своей выпяченной хмельной веселостью и удалью напрочь лишенной злости. Пьянея, они часто пели нестройными голосами, громко спорили, почти не слушая друг друга, но даже эта – куда как явная дисгармония! – не лишала компанию бывших солдат какой-то удивительной теплоты, и придавала ей что-



то необычное, словно пришедшее к нам из другого неведомого мира. Да, гости говорили о войне, но, в сущности, в их рассказах было не так много войны. Их мир скорее пах молодой майской ночью, а не жженным порохом, словно человеческий взгляд скользил по ромашковому полю, изуродованному во время артобстрела черными воронками, но не задерживался на них, а скользил дальше-дальше-дальше...

Наши добрые «пираты» не любили войну. Но они прошли через нее. Как-то один из них сказал, что, мол, если ты пережил хоть одну бомбежку «Ю-87» перед немецкой танковой атакой, ты уже никогда не будешь прежним. Наши гости навсегда остались такими, какими они вернулись с той Великой Войны. Тогда, в середине шестидесятых, им всем было за сорок, а кому-то за пятьдесят, но от них почему-то все равно пахло молодостью. Тут самое удивительное то, что хотя они и не любили войну, я никогда не встречал людей способных так легко вернуться в прошлое. Словно кто-то щедро оплачивал им эту дорогу, они усаживались в сани, запряженные разъяренными затянувшимся простоем конями, и летели, туда, в безмерную даль, где небо сливается с землей, где с неба падают воюющие «Ю-87» и прошлое снова становится настоящим....

Водка гасила их бывшие страхи. Рассказывая о войне, они часто смеялись над тем, что сделало их волосы седыми. Например, о том, как группа разведчиков три километра тащила по снегу мертвого пленного немца, только затем, что-

бы доказать начальству, что группа действительно ходила за «языком», а не отсиживалась в кустах. Но немец вдруг оказался живым!.. Обрадованные разведчики, чтобы согреть в конец окоченевшего немца так накачали его водкой, что тот и в самом деле едва не умер. Ну, а потом, все чуть ли не кончилось штрафным батальоном из-за глупой шутки. Когда командир спросил, кого нужно наградить за пленного, кто-то из разведчиков, в шутку, конечно, предложил наградить орденом Ленина самого фашиста. Мол, он же, гад, все-таки живой остался. Нет, все закончилось хорошо и бойцу просто объяснили, что светлое имя Владимира Ильича Ленина никогда не должно стоять рядом с черным словом «фашист». Позже разведчику намекнули, мол, «язык» дал ценнейшие показания и, если бы не твоя дурацкая шуточка, скорее всего, именно ты и получил бы орден Ленина, а не простенькую «Красную звезду». Но и на этом дело не закончилось. После награждения к разведчикам приехал партийный лектор и прочитал им лекцию о любимой книге Владимира Ильича Ленина. Мол, «Что делать?» Николая Гавриловича Чернышевского полностью «перепахала» тогда еще юного будущего вождя мирового пролетариата. Суть книги с вопросительным названием сводилась к тому, что если женщине дать швейную машинку, то она ни при каких обстоятельствах не станет проституткой. Автор утверждал, что именно экономическая свобода человека гарантирует его нравственность, а не какие-то там замшелые церковники в виде попов. Ночью

наш орденоседец долго не мог уснуть. Он никак не мог понять, одну простую вещь: неподалеку от его дома жили две развеселые «дамы легкого поведения», которые, кроме своего основного занятия, еще занимались продажей краденого. Частенько это были швейные машинки. Их тырили с местного завода и в иной день в доме веселых подруг было не две и даже не три швейные машинки, а пять или даже семь. Теперь орденоседец думал о том, в чем же мог ошибиться вождь мирового пролетариата, ведь проститутки даже не думали заняться честным трудом. Может быть, дело было совсем не в наличии или отсутствии швейных машинок, а в чем-то еще?.. Но тогда в чем?

Смеялись все и даже мой подвыпивший отец. Он целовал маму в щеку, она отмахивалась и говорила: «Вы только потише тут!..» и застолье продолжалось. Мой отец не воевал в ту Великую Войну, ему не хватило одного года для призыва и за столом он всегда был и «младшим по званию», и хозяином стола. В зависимости от поведения матери гости признавали его то тем, то другим. Наши гости умели хитрить и маме, пусть она и была права, приходилось уступать.

Знакомая мамы врач и кандидат медицинских наук Надежда Викторовна говорила, что, мол, это просто поразительно, что гости моего отца прожили так долго после Великой Войны. Разумеется, врач имела в виду разрушительное действие алкоголя на организм, но на это уточнение никто не обращал внимания. Как говорили гости, кто воевал с фа-

шистами, цирроза не боится.

Как правило, Надежда Викторовна немного нервничала, выслушивая подобные ответы, и уже повышая голос, продолжала в том же духе:

– Моя дочь альпинизмом занимается. После каждого подъема на вершину с ней и ее друзьями происходит примерно то же самое: они дурачатся как дети, чтобы выплеснуть остатки адреналина, ну, и чуть ли не на голове ходят. А в этих... – врач кивала на гостей отца. – В этих радость сорок пятого года все еще бурлит. Кстати, никакие они не пираты. Они – словно добрые черти, которые вырвались из ада.

– А разве бывают добрые черти? – удивился я.

– Бывают, – подтвердила Надежда Викторовна. – Черти бывают добрыми, а вот ад – никогда.

Ее голос как-то странно дрогнул, она отвернулась и быстро ушла в комнату моей мамы.

Надежда Викторовна была высокой, худой женщиной с предельно строгим – как бы это странно не звучало – почти иконографическим лицом, а моя мама была отличной портнихой. Надежда Викторовна любила хорошо одеваться. Во время войны она служила в военно-полевом госпитале. Молодая женщина пять лет носила военную форму и белый халат и в конце концов возненавидела их.

Однажды я слышал, как мама тихо говорила моему отцу:

– Она замуж выйти не смогла... Хотела, но не смогла. В том смысле, что не могла лечь с мужчиной в постель. Она

воспринимала любого из них, ну... как тело для операции, понимаешь? А она этих тел чуть ли не тысячу за время войны скальпелем искромсала.

Я не понял слов мамы и отца, но почему-то стал побаиваться Надежду Викторовну. Нет, я не думал о том, что она носит с собой скальпель, просто ее лицо чем-то неуловимо напоминало раскрытую книгу и я всегда ловил себя на мысли, что никогда не смогу прочитать «строки» из морщинок-иероглифов. Наверное, у каждой из этих морщинок была своя причина, но она была тайной и мне – ребенку – была непонятна, примерно так же, как странное выражение «добрые черти».

Надежда Викторовна говорила моей маме:

– ... Особенно страшно было в начале войны: ты видишь, как от горящих вагонов ползут раненные, сверху на них с воем пикируют самолеты, а ты стоишь как соляной столб и медленно сходишь с ума. Да, начало войны было длинным и самым-самым страшным... И только потом, примерно через два страшных года в людях наступил какой-то внутренний перелом. Это было как дуновение ветерка, что ли?.. Однажды в Библии я нашла странное выражение, которое так и не поняла до конца: «Глас прохлады тонкой...». Может быть, все случилось именно так? Я не говорю, что, мол, я слышала какой-то глас или ощущала некую мистическую прохладу, но все-таки все началось с какого-то тончайшего веяния правды в уставших людях... А до этого война перемалывала

обычных гражданских людей. Эти люди были способны на подвиг, на самопожертвование, но там, внутри себя, они все-таки оставались обычными людьми, даже когда сознательно шли на смерть... Они не были солдатами, они были просто смелыми мальчиками и девочками, даже если им было за тридцать. Они могли стоять у станков, растить хлеб, воспитывать детей, но убивать себе подобных!.. (тут обычно Надежда Викторовна тянулась к папиросе и долго перекатывала ее в тонких пальцах) Поймите, Катенька, это очень и очень болезненный процесс перестройки психики. И одно дело, если человек медленно и постепенно готовится к этому в армии в мирное время и совсем другое, когда... не знаю, как сказать... когда все это совершается под бомбами, арт-обстрелами и во время чудовищной неразберихи.

Еще Надежда Викторовна любила порассуждать об огромной ошибке Сталина, который готовил армию и народ к быстрой победе во Второй мировой войне, но в результате получилось тяжелое и кровавое отступление сорок первого года.

... – Это же просто чудовищно! Допустим, вас уложили на операционный стол и объяснили, что операция будет простой и легкой. Вам даже не дали наркоз. Потом прошло четыре-пять-шесть часов, а операция все не заканчивается. Вам нестерпимо больно, вы видите над собой застывшие, безразличные лица врачей и готовы кричать не только от боли, но и от обиды. Ведь внутренняя готовность к боли порой важнее

обезболивающего.

Однажды один из гостей сказал Надежде Викторовне, что, мол, перед войной Сталин не совершил ошибки. Он просчитывал Гитлера как политика, а тот оказался обыкновенным сумасшедшим.

Надежда Викторовна только пожала плечами:

– Гитлер всегда был сумасшедшим. Ошибка Сталина как раз в том и состояла, что он считал его политиком.

Гости приходили к отцу не чаще пары раз в месяц, но даже такие не частые визиты нелегко давались моей маме.

Больше всего мама и Надежда Викторовна не любили дядю Семена с фронтовым позывным «Майор». Это был краснолицый, веселый и добродушный человек, который иногда... ну, в общем... давал волю своим словам. Летом, когда гости отца собирались во дворе, эти слова слышали через открытое окно женщины в комнате. Мама и Надежда Викторовна сердились и часто из окна вылетала катушка ниток или что-нибудь более тяжелое, в виде пустой пудреницы.

– Тебя что, грузовым вагоном контузило, да?! – кричала Надежда Викторовна.

– Да, слегка, но не вагоном, – соглашался дядя Семен. – Помню в окопе засыпало и утрамбовало танком так, что, только руки снаружи остались. Чувствую, – все!.. Отшербуршился. Конец пришел. Вдруг чувствую, кто-то меня отрыть пытается. Руки-то мои снаружи и шевелятся, значит жив человек. В общем, копаемся мы вдвоем: я изнутри головой как

крот рою, а тот человек снаружи руками. Земля – убитый после дождя суглинок. У меня уже в глазах темнеет, но вдруг я рукой – цап!.. И на женскую грудь нарвался. Меня как током ударило – мол, мама родная, да ведь меня баба отрыть пытается!.. Ожил я, стал бойчее через глину пробиваться. И снова – цап!.. Снова женская грудь, но уже другая – явно побольше...

– Так тебя, что две доярки откапывали? – съязвила Надежда Викторовна.

– Три! – дядя Семен торжественно поднял вверх три пальца. – Целых три штуки.

– Врешь ты все, – не верила Надежда Викторовна. – А зачем врешь?

– Конечно, вру. Но вру для красоты, – смеялся дядя Семен. – Потом рассказали, что меня худенькая и тоненькая как тростинка санинструктор Верочка из земли отрывала. И ты что, думаешь, что я и в самом деле запомнил, как по мне танки елозили? Там, в окопе, все просто было – накрыло тебя землей – и все как отрезало. Потом – вдруг свет в глаза и воздух в легкие как из насоса. И сам ли ты выбрался или отрыл тебя кто-то – через секунду уже не помнишь... То есть вообще ни черта не понимаешь. А еще, например, куда-то ползти пытаешься, а тебя за штаны держат... И еще в ухо орут: «Ты куда ползешь?.. Ты что, сука, в плен собрался?!..»

Волна смеха перекрывала все дальнейшие слова.

Шутки «Майора» были смешны только мужчинам. На



всякий случай Надежда Викторовна и моя мама старались не приближаться к нему ближе, чем на два шага. И только пару раз, когда настроение «Майора» было не столь буйным, он был выслушан со вниманием не только с мужской стороны. Ну, а поскольку его рассказ коснулся судьбы молодой девушки, то и мама, и Надежда Викторовна не перебивали речь «Майора» даже когда он переходил на грубые шутки.

– ... Я, можно сказать, в «СМЕРШ» с самого начала попал, еще в мае 1943 года. Вызвали меня в штаб дивизии и спрашивают: «Ты шпионов ловить умеешь?» Я говорю: «Нет, конечно. До войны в милиции работал, но не со шпионами, а со шпаной». Гляжу, генерал заулыбался. «Это, – говорит, – одно и то же. Иди и учись, старший лейтенант». Пришлось привыкать... Но, в общем, работа как работа оказалась – то ты шпионов ловишь, то тебя шпионы, короче говоря, не скучно было. Причем от возни с бумажками до стрельбы иногда полшага было, а часто и меньше. К таким резким переходам я так и не привык... Уже после войны лет десять по ночам вскакивал и пистолет под подушкой искал.

Так вот, значит... Осенью сорок четвертого года попался нам гауптман Хеске – фашист до мозга костей, ему наши половину левой руки отстрелили, так он, собака, все равно своего бешенства не растерял. С осени сорок первого года служил тот гауптман в полевой фельджандармерии и наше начальство заинтересовал его рассказ о начале партизанского движения в районе Смоленска.

По рассказу гауптмана Хеске выходило, что там действовал партизанский отряд какой-то Жанны и очень много он немцам крови попортил. Наше начальство кое-какие документы подняло, но по ним никакого отряда Жанны не значилось. Вроде бы кое-что в рассказе немца сходилось по фактам с боевой группой номер «пятьдесят семь», только она погибла сразу после выброски. В начале войны так частенько бывало... Опыта – мизер, народ на оккупированной территории запуган, все дороги немецкие патрули блокировали, а по кустам и буеракам много не набегает... Воевать почти вслепую приходилось.

А все-таки по рассказу гауптмана Хеске получалось, что партизанский отряд не просто воевал, но оказался почти неуловимым. Немец часто повторял «Жанна, Жанна!..», мол, вы русские специально своей диверсантке такое имя придумали, чтобы за ней народ пошел. А это, мол, не совсем честно, потому что это имя не русское, а французское и настоящая Жанна Д'Арк была католической святой, а не советской комсомолкой. Кроме того, вы, русские дураки, потому что атеисты (смелый был немец на слова, это я с чистой совестью говорю) и вы даже десятой части не сделали, что могли бы с такой отчаянной девчонкой проверить. Странные слова!.. Словно жалел он ту девчонку, которую поймать хотел. В общем, немного сдвинутым на русской Жанне оказался фашист. Но это понятно, ловил он ее долго, да так и не поймал...

Начальство наше задумалось и решило, так сказать, воздать должное неизвестной героине. В этом смысле «СМЕР-ШУ» не очень трудно было работать – шлешь запрос и не дай бог ответа вовремя не получишь. А дело-то важное. Например, у нас вся страна знала о подвиге Зое Космодемьянской. А тут вдруг еще одна героиня и такая, что враги ее до сих пор клянут.

Вскоре из кое-как собранной скудной пачки набранного материала (в сорок первом году было многое потеряно) удалось набрать следующие факты. Осенью 1941 года в немецкий тыл была заброшена группа парашютистов-разведчиков. Их задание заключалось в следующем: провести диверсию на крупном железнодорожном узле и установить связь с партизанским отрядом, неподалеку от этого «узла». С партизанами было, пожалуй, сложнее было чем с диверсиями. Знаете, в начале войны были такие «партизаны», которые легко превращались в едва ли не бандитские шайки. Вот один из таких отрядов – малоперспективный, попросту дремлющий в лесу – диверсанты с Большой Земли и должны были мобилизовать на активные действия. А на самом железнодорожном узле действовала крошечная подпольная группа. Но она была до смерти перепугана и никакого рвения не проявляла.

Отряд с Большой Земли почти сразу после десантирования попал в засаду. Диверсанты с боем отступили в лес и погибли один за другим. Возможно, у них была инструкция: главное, прикрывать радиста и скорее всего командир груп-

пы должен был ликвидировать его, если бы увидел, что появилась угроза плена. Но в данном случае радист – только он один! – смог уйти от немцев. Наверное, потому что этот радист был... «комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей». Командир отряда не смог выстрелить в спину девушке, которой не исполнилось еще и двадцати лет. Ее прикрывали до конца, и она смогла оторваться от немцев...

Через два дня на Большой Земле получили странную радиограмму: «Я осталась совсем одна...» И все! На вызовы рация не отвечала, то есть попросту отмалчивалась.

Начальство пожало плечами... В общем, бывает. Оно отложило подальше документы о заброшенной группе, тем более что их было не так много. Заброску в тыл группы готовил особый отдел армии, армия попала в окружение и все, что удалось спасти из документального – не более, чем пара бумажек.

Кроме того, провалов было слишком много. Они были кровавыми, а отвечать за очередной – да еще за живую девчонку с рацией среди немцев – очевидно, никому не хотелось.

Еще через девять дней Большая Земля получила очередную – вторую по счету — депешу Жанны. Она сообщила: нужно бомбить узловую станцию в ночь на 13-ое. «Окно» для бомбежки всего пара часов – с часа ночи до трех. И никаких объяснений.

Начальство почесало затылок. Что делать, спрашивает-

ся?.. И что такого там, в немецком тылу, могла придумать одинокая девчонка? Пусть даже если у нее есть рация. Но стране были нужны успешные удары по немцам. Начальство позвонило «бомберам» и постаралось выяснить, когда те собираются наносить удар по «узловой». Те ответили, мол, 14-го. Им посоветовали перенести удар в ночь на 13-ое между часом и тремя.

А потом разведначальство повесило трубку и задумалось... Оно не верило в успех будущей бомбежки. Но бомбить-то немцев все равно нужно. Кроме того, может быть, девчонка все-таки что-нибудь подсмотрела?.. Или подслушала?.. Ведь бывают же чудеса на войне, а сигнала о работе рации под контролем не проходил.

Бомбовый удар по «узловой» был нанесен в указанное время. Вскоре робкие подпольщики сообщили, что удар получился «чудовищной силы». На станции долго горели платформы с танками и грузовиками, а в госпиталь поступили чуть ли не две сотни раненых солдат и офицеров.

Обрадованное начальство стало вызывать Жанну, но ее рация молчала... Через неделю рация снова заговорила. Жанна снова просила нанести удар по «узловой» 20-ого числа, в три часа ночи.

Начальство вдруг подумало о том, что, пожалуй, девушка-диверсантка ведет себя более активно «застенчивых» партийцев-подпольщиков. Те только сообщали что-то о передвижении грузов по железной дороге, но редко и не совсем

точно.

По узловой был снова нанесен бомбовый удар. Через сутки подпольщики сообщили о больших потерях немцев. Что удивительно, по сообщениям летчиков, станция горела еще до начала бомбардировки. Это существенно облегчило удар наших самолетов. Один из летунов даже сказал, что, мол, «раскатали этих сук поганых как на учениях». Такое редко тогда у нас получалось. Очень редко!..

Разведывательное начальство стало подумывать о награде для героини. Ей сообщили адрес на узловой, где она может взять запасные батарейки для рации. Девчонке начинали верить.

Немцы тоже не бездействовали. В партизанском (или полупартизанском) отряде «группу Жанны» ждала засада. Немецкая «абвер»-команда сумела нащупать засевшую в лесу группу из тридцати окруженцев и вела с ней активную работу. Немцам важно было, чтобы партизаны сами перешли на их сторону. Для этого в группу внедрились своих людей из блатных уголовников. Их было пятеро. Отчаянные, злые, уже замаранные в крови, они отлично понимали, что пути назад для них нет. Подобная «подстава» явно облегчала уничтожение «группы Жанны», потому что та рано или поздно должна была выйти на них.

Короче говоря, когда к партизанской группе вышла вооруженная группа из пяти человек с молоденькой девушкой, ее фактически уже ждали. Блатные сразу сунулись вперед...

Им была важна инициатива в разговоре, а кроме того, им уже сообщили, что главная в группе, которая на них выйдет – молодая девушка. Ее обязательно нужно взять живой и найти рацию.

Наверное, немецкие агенты были довольны началом операции. Они много говорили, скалили зубы и даже предлагали выпить за «дружбу». Их немного настораживало, что девушка мало говорит, что ее взгляд хмур и явно недобр, а ее товарищи тоже не спешат проявлять дружелюбия. В общем, разговор явно не клеился. Он становился все суше, резче, а в голосах людей с той и другой стороны вдруг начали прорываться раздраженные нотки. Слово цеплялось за слово, реплика – за реплику и тон разговора становился все выше и выше.

Они стояли друг против друга – пятеро партизан «группы Жанны» и прямо перед ними пятеро блатных – «руководство» партизанского отряда «Красное знамя». Чуть дальше, за их спинами, – весь остальной лесной отряд окруженцев.

Первой начала стрелять Жанна. Это было почти безумием открыть огонь из слабенького «нагана» по пятерым уголовникам. Ни одна пуля не убивает сразу, а физически сильный человек, даже получив пулю в грудь, может оказать самое ожесточенное сопротивление. Тем не менее уголовников уничтожили почти мгновенно. Стреляли все: люди из «группы Жанны», уголовники, а главное те, кто стоял за спинами уголовников. Именно они, и решили исход скоротечно-

го боя. Тут суть в том, что каждый из них в течении трех минут – вряд ли общение Жанны с уголовниками заняло больше – был вынужден принять решение на чьей он стороне. Такое трудно назвать «моментом истины», но все-таки что-то такое в этом было – люди поверили именно Жанне. Поверили и пошли за ней.

В результате перестрелки было убито семь человек и шестеро ранено, в том числе Жанна. Пуля пробила ей плечо, но не задела кость. Трупы уголовников и еще одного человека, который попытался стать на их сторону выбросили в болото.

Уже через неделю немцы объявили крупное денежное вознаграждение за информацию о «бандитке Жанне». Они говорили о том, что еврейские комиссары специально дали девушке такое «историческое имя», носить которое советская комсомолка не имеет права.

Гауптман Хеске клялся, что он никогда и нигде не сталкивался с таким неуловимым отрядом. Казалось, партизаны были везде, но главное, они отличались какой-то особой наглостью. Они рвали связь, срывали поставки продовольствия, уничтожали мелкие гарнизоны, подрывали все, что представляло из себя хоть какую-то ценность для оккупационной власти, а потом бесследно исчезали.

Гауптман жаловался, что перестал спать по ночам. Он устраивал засады в деревнях, на дорогах и, умоляя начальство, снимал с эшелонов едущих на фронт солдат. Леса – прочесывались, копны сена – перерывались до последней со-



ломинки, подвалы – подрывались, а сараи – сжигались.

Когда гауптман Хеске понял, что у Жанны наверняка есть осведомители среди полицаев, он расстрелял каждого третьего, то есть всех тех, кто вызывал хотя бы малейшее подозрение. Но диверсии не прекращались. И только в феврале Жанна вдруг исчезла... Потом гауптман узнал, что в партизанском отряде появилось новое руководство, а о самой Жанне почти перестали говорить. Это показалось Хеске странным, потому что с точки зрения пропаганды девушка представляла огромную ценность.

Желание найти Жанну у гауптмана Хеске не уменьшилось. Да, он прекрасно понимал, что поскольку в партизанском отряде появились другие командиры то, наверное, теперь девушка стала простой радисткой. Но и захватить радистку было бы верхом удачи. Хеске очень хотелось взглянуть на Жанну. Взглянуть, а потом выстрелить ей в лицо... Пусть теперь Жанна была простой радисткой, она все равно она оставалась русской «Жанной Д'Арк», – символом сопротивления.

В конце концов, тонкий нюх бывшего полицейского и разбросанная по деревням агентура вывели Хеске к небольшому селу. Последний раз девушку заметили там, а главное, никто не видел, как она покидала его.

Гауптман не стал спешить с операцией захвата. Сначала он выставил секретные дозоры, потом уплотнил их и, в кон-

це концов, превратил в непроницаемую стену. Окружение села происходило в течении двух дней, а к полудню третьего немецкий отряд вошел в село.

К удивлению, Хеске, первая же жительница показала ему на дом, где была Жанна. Возле дома гауптман заметил небольшую толпу. Даже увидев немцев, сельчане не поспешили разойтись.

Хеске уколола неприятная мысль, что произошло что-то не очень хорошее. Он подошел к ближе и через переводчика поинтересовался, что происходит.

Отвечал староста, старик с невыразительной внешностью:  
– Умерла она, ваше благородие... Сегодня утром и померла.

Хеске холодно спросил, кто умер.

Старик опустил голову и усмехнулся:

– Жанна, ваше благородие, кто же еще-то?.. Хотя, конечно, сейчас любой запросто на тот свет уйти может... Война, понимаешь, ваше благородие, штука злая.

Гауптман оттолкнул старика и прошел в дом. Староста не врал. В центре горницы стоял гроб, в нем лежала мертвая девушка. Худое, бледное лицо делало ее похожей на ребенка.

– Два дня назад пришла, – продолжил свои пояснения староста, хотя его об этом никто не просил. – Очень плохая была, еле на ногах стояла... А у нас врача нет, фельдшер разве что, только он старый совсем, почти не видит ничего.

Отряд Хеске потеряли почти три дня окружая село.

– Почему сразу не доложили своему начальству? – гаркнул на старосту Хэске.

– А о чем докладывать-то? – удивился тот. – При девчонке ни оружия, ни гранат не было... А то, что она и есть та самая Жанна, она только перед смертью сказала. Нам ведь, ваше благородие, партизанские фотографии не раздают.

На покойнице надорвали саван и увидели зажившую рану на плече. Ту, самую, которую Жанна получила в перестрелке с бандитами в партизанском отряде и о которой хорошо знал Хэске. Была и еще одна рана, уже свежая, в ногу.

Гауптман поинтересовался у врача, которого предусмотрительно взял в отряд, от чего умерла девушка. Тот бегло осмотрел покойницу, пожал плечами и высказал предположение, что скорее всего от истощения. У девушки просто не выдержало сердце. А потеря крови от раны на ноге, плохое питание и простуда окончательно подорвали ее силы.

Хэске долго рассматривал лицо Жанны. Он не находил в нем ничего примечательного. Покинувшие девушку силы обесцветили ее внешность до восковой бледности, но что больше всего удивило Хэске, так это то, что лицо девушки было удивительно спокойным. Оно было спокойным откуда-то изнутри, словно силы, оставившие Жанну, были чем-то внешним и привнесенным в нее войной, а уйдя, они оголили скрытую до этого внутреннюю суть.

Да, она была врагом, но Хэске вдруг перестал ненавидеть ее... А на том месте, где жила ненависть, вдруг возникла

тошнота и боль.

Хеске передернуло от возмущения по отношению к собственной слабости. Гауптман вышел во двор. Он посмотрел на морозящее дождем небо и молча плюнул в него. Он плюнул, потому что перестал понимать эту проклятую войну. На войне должен побеждать более сильный и более умный. Сам Хеске не очень-то верил в сказку о супер-арийцах, но он искренне считал, что немцы умнее и сильнее русских. Вот только война с этими русскими получилась какой-то совсем уж странной... Ни мужество солдата, ни гений генерала или фюрера и даже не простое животное упорство побеждали в этой проклятой войне. Главные решения принимала уже сама война. Она не заглядывала в штабные карты, не измеряла солдатский опыт и не пересчитывала количество бомбардировщиков. Война жила какой-то своей особой жизнью, она просто приходила к человеку и просто забирала его с собой.

Хеске вдруг подумал о том, что в данном случае он не имел права заявлять о некоей победе. Жанна снова ушла от врагов не смотря на выставленные вокруг села заградительные кордоны. А еще гауптман понял, что он не смог бы принять смерть так же спокойно, как приняла ее Жанна. Хеске всегда был солдатом, очень хорошим солдатом и он не боялся конца. Но он не понимал – отказывался понимать! – спокойное... нет, даже не спокойное, а смиренное отношение к смерти. Именно то, которое он увидел на лице Жанны.

Любой солдат – всегда игрок, в большей или меньшей сте-

пени. Хочешь жить – двигайся на поле боя. Играй с пулями и снарядами, которые летят в тебя или с самолетами, которые на тебя пикируют. Научись презирать врага, обмани его, окружи, уничтожь. И, главное, думай, солдат, думай!.. В конце концов, танк – это только железная коробка с ограниченными углами обзора, а пулеметное гнездо – всего лишь мелкая ямка с двумя-тремя пока еще живыми людьми. Иди вперед, солдат, черт бы тебя побрал, и стань героем!.. Ты не должен бояться смерти, как карточный игрок не должен бояться карт. Ведь все это даже очень весело, разорви тебя дьявол, сыграть «в жизнь или смерть» с безносой тетей и сыграть так, чтобы из ушей потек адреналин.

Но Жанна?!..

До немца вдруг дошло, что у русской Жанны, в отличие от французской героини, не было никакой армии. И не могло быть... Потому что она никогда не была ни игроком, ни командиром.

Чтобы это понять, нужно было понять одну простую мысль: как встает из окопа солдат в атаку?.. Ответ очень прост: не спеша. Солдат никогда не встанет раньше командира. Он лишний раз передернет затвор автомата или винтовки, механически ощупает гранаты на поясе, взглянет на небо или себе под ноги и встанет из окопа третьим или четвертым по счету, а может быть даже пятым. Настоящий, опытный солдат – никогда не торопится. Ему нужен четкий приказ командира. Ему нужно ощущение того, что он встает не один,

что другие уже поднялись в полный рост и что «все это» уже началось помимо его воли...

И вот теперь, стоя перед русской хатой немецкий гауптман вдруг понял, как начался путь Жанны, потому что сегодня увидел, как этот путь закончился. Возможно, в его понимании было что-то мистическое, но ему, немецкому офицеру, не выполнившему задание командования, то есть не уничтожившему партизанское движение в своем районе, теперь предстояла дорога на фронт. А солдат в окопе не может не стать мистиком. Ну, хотя бы потому что любой окоп – преддверие могилы. Там, в окопе, куда бы не смотрел солдат, себе под ноги или на небо полуприкрытое каской, в его сердце все равно рождается что-то не совсем земное, пусть и придавленное приказом командира, но все-таки неподотчётное даже самому фюреру.

Мистика – это не закрытый черный ящик, такой предмет просто не будет иметь смысла. Мистика – это когда ящик приоткрывается, появляется загадочный свет, и ты уже не в силах оторвать от него глаз.

Немецкий гауптман ясно увидел, как однажды поздней осенью один деревенский дедок (допустим, его звали Тимофеич, а его деревенька, примыкающая к «узловой», пусть зовется примерно так же – Тимофеевка) нашел в своем сарайчике до смерти перепуганную девчонку с наганом. Она была одна, она плакала, и она не знала, что ей делать...

Дед Тимофеич не очень-то любил Советскую Власть. Он

потерял ногу еще в Империалистическую, а новая власть как-то не очень сильно заботилась о старых ветеранах. Новая власть говорила о новой жизни и ее мало интересовали инвалиды, защищавшие царизм.

Дед пожалел девчонку и приютил ее. О чем они говорили?.. О войне, которая убивала людей и страну?.. Или о куске сала и душистом куске хлеба, которые дед дал девчонке?.. Трудно сказать. Может быть, и о том, и о другом. У девчонки были испуганные глаза, дрожащие руки и она постоянно твердила, что нужно – обязательно нужно! —атаковать узловую станцию. А старик усмехался в седые усы и молча качал головой. Он уже видел отступающие, разрозненные и растерзанные боями группы окруженцев, он видел их командиров с сорванными с воротничков петлицами. Война, которую ждали и к которой готовились, оказалась несоизмеримо, тысячекратно более жестокой.

Нужно было время, чтобы прийти в себя... День-два или три. Нужно было отдышаться и осмотреться. Через пару дней гостя немного пришла в себя. Она перестала плакать по ночам, перестала виновато улыбаться, а в ее глазах вдруг появился холодный и спокойный блеск.

Девушка снова сказала, что нужно атаковать узловую станцию, что у нее есть рация и что она может вызвать бомбардировщики. Она не просила старика помочь ей... Но она плохо понимала, что ей нужно делать, чтобы операция стала успешной. У нее не было командира, не было товарищей и

не было взрывчатки.

Деревня Тимофеевка почти вплотную подходила к узловой станции. Рядом с деревней текла речонка, на ней – мосток, а по мосту проходила одна из «маневровых веток» железнодорожных путей отходящих от «узловой». Немцы тщательнейшим образом охраняли саму станцию. Ну, и, конечно же, мосток с «маневровой веткой» – тоже... Но не так сильно – только патрулями.

Дед Тимофеич припомнил, как однажды весной сорвало крошечный причалик. На таких бабы обычно полощут белье, а ребятня любит прыгать в воду. Причалик превратился в плот и его понесло по реке. Через двести метров он точно уткнулся в центральную опору мостка с «маневровой веткой».

Мысли деда были простыми, совсем житейскими и, казалось, в них не было места войне. Рассказывая о мостке и сорванном причалике, он просто рассуждал вслух, Жанна слушала, а на плите снова закипал чайник... Девушка поняла, что для будущей диверсии нужно время.

Дед Тимофей нашел пару тяжелых снарядов. Мало ли такого добра валялось вокруг?.. Война ведь идет. Дед когда-то был сапером, да и Жанну чему-то учили в разведшколе. Вдвоем они соорудили плот для плавучий мины. Перед диверсией дед послал на «узловую» соседского мальчишку – там, у него жила внучатая племянница с мужем. Муж работал сцепщиком вагонов. В ночь на 13-ое все «маневровые



ветки» узловой оказались забиты пустыми вагонами. А та, которая шла через речку с мостиком, дед с Жанной рванули плавучей миной за полчаса до бомбардировки. Состав, который собирался как раз перейти через этот мосток, потерял паровоз и остановился, загораясь своим «хвостом» главные пути. Станция оказалась полностью закупоренной.

Немцы, конечно, провели расследование, сожгли Тимофеевку, но ни деда, ни Жанну, ни сцепщика так и не нашли. Начальник станции отправили на фронт и инцидент (довольно уникальный по своей сути) можно сказать был исчерпан, потому что не мог бы быть повторен.

Вторая диверсия на «узловой» оказалась сложнее. Группа Жанны выросла уже до восьми человек и им удалось раздобыть тяжелый пулемет. Его подтащили к станции едва ли не на пятьсот метров и, когда ночью на «узловую» втягивалась жирная гусеница немецкого эшелона с топливом, открыли огонь. Тяжелые пули дырявили цистерны, из них били упругие полуторасантиметровые струи бензина и жгли все вокруг. Потом налетели бомбардировщики, и узловая превратилась в сущий ад.

Немцы попытались преследовать партизан, но нарвались на минное поле. Судя по всему, среди них был опытный сапер и очень мало вероятно, что этим сапером была Жанна..

Вскоре немцам удалось сильно потрепать подполье на «узловой». Один из схваченных подпольщиков сообщил немцам, что несколько дней назад к нему приходила девушка за

батареями для рации. Ее звали Жанна. На просьбу описать ее внешность, подпольщик долго думал, а потом сказал: «Серенькое пальто, серенький берет. Она очень худенькая... И очень голодная».

Именно тогда гауптман Хеске возненавидел имя Жанна. «Худенькая и голодная» могла стать только беженкой, но не диверсанткой. Еще он понял, что у партизан нет своей базы, что у них явные трудности с продовольствием и потребовал у гестапо прекратить «игру» с лже-партизанской группой в лесу. Его не послушались и вскоре Жанна вышла на эту группу...

Да, Жанна не была командиром отряда. Да, она могла принять решение открыть внезапный огонь по бандитам в партизанском отряде, но это было ее импульсивным и, возможно, не очень умным решением. Но ей везло, потому что и раньше, и позже, рядом с ней оказывались люди, которые понимали войну значительно лучше ее... А Жанна не давала им покоя, как не дает покоя отцу после тяжелой работы маленькая девочка своими бесконечными играми.

Самое главное, у нее была связь с Большой Землей. Но там не могли назначить другого человека вместо Жанны. Поэтому вся суть ее руководства сводилась к тому, что она собирала свой отряд в единый кулак, а потом отряд снова распался на части.

Немецкий гауптман понял, что Жанна постоянно находилась в движении. Однажды ее задержали четверо полицей-

ских, но в результате двое из них были убиты своими же, а те двое, кто стрелял в своих, ушли с Жанной. Она искала людей для своего отряда и всегда находила их. Ну, кто бы мог подумать, что рыжебородому и лысому дедку-пасечнику из Шулявки не шестьдесят лет, а всего сорок пять и в июне 1941 его артдивизион выдержал пять немецких танковых атак? Именно этот «дед» расстрелял из двух брошенных советских орудий колонну из двенадцати армейских грузовиков. А какой бы гестаповец догадался, что однорукий паренек из Цветово способен установить мину под рельсом меньше, чем за минуту?.. Да, ему помогала его невеста, но, как шутили партизаны, она была «из нашего теста» и у ребят все отлично получалось именно тогда, когда они действовали парой.

Люди понимали – идет война и нужно вставать из окопов... Да, вставать не очень-то хотелось, это был смертельный риск и поэтому все немного... нет, не побаивались Жанну, а все-таки немного сторонились ее. Она снова и снова хотела атаковать узловую станцию, но с ней уже никто не соглашался. Немцы окружили станцию линиями окопов, минными полями и пулеметными гнездами. Жанну поддерживали разве что однорукий юнец-подрывник и его отчаянная невеста. Но эти «силы» можно было не брать в расчет...

В конце января в партизанский отряд все-таки прибыло новое командование, оружие, взрывчатка и продовольствие. Жанне было предложено вернуться на Большую Землю, потому что здоровье девушки было сильно подорвано. Жанна

отказалась... Она сдала рацию и попросилась в разведку. Ей долго не разрешали, но потом, учитывая ее авторитет и умение находить нужных людей, разрешили. И не пожалели!.. За ней шли люди и эти люди становились солдатами.

Но потом пришла смерть и взяла Жанну с собой... Это произошло так, словно смерть взяла ее на куда более важное задание. Правда, смысл этого задания не знали не только ее командиры, его не знал даже товарищ Сталин.

Заканчивая свои рассказы на допросах гауптман Хеске сказал, что после такой Великой Войны он будет ненавидеть русских еще больше.

– ... Жанна пришла в ту деревню не только потому, что была ранена. Их группа нарвалась на минное поле и на месте взрыва остались двое ее раненных товарищей. Она пришла за повозкой, чтобы увести своих друзей в лес, но уже не могла пойти сама. У нее уже не было сил, а пройти полицейский кордон вблизи соседней деревушки Жанна уже не могла. Раненных вывези другие... Я узнал об этом значительно позже, но не стал возвращаться в село, чтобы отомстить за помощь партизанам.

Хеске замолчал, какое-то время рассматривая поверхность стола, пожевал губами, словно ругался, и с неожиданной злостью продолжил:

– Вы воюете не в том измерении, в каком воюют ваши враги, – сказал он «Майору». – Я уже говорил вам и повторяю: солдат должен воевать с солдатом, а генерал – с генера-

лом. Ваша Жанна —фанатичка и, вполне возможно, она и в самом деле была похожа на ту средневековую французскую стерву. Но справедливы ли подобные войны?.. Подумайте, если бы воевали только солдаты и генералы, войны длились бы год или два, а потом наступал мир. Ради чего сражаются короли, президенты и диктаторы? Ради выгоды. Когда сильный побеждает слабого, и когда победитель получал все, что он хотел война становится бессмысленной. Но в средневековой Франции вдруг появляется Жанна Д'Арк, а в Испании времен Наполеона, – полусумасшедшие партизаны-герильерос. Этих фанатиков не интересует выгода и война может продолжаться бесконечно долго...

... Неужели вы и в самом деле думаете, что мы, немцы, пришли только затем, чтобы уничтожить вашу страну?.. Нет-нет, сто раз нет!.. После того, как мы уничтожили диктатуру Сталина, мы уничтожили бы и Гитлера. Этот сумасшедший был нужен нам после победы примерно так же, как использованная туалетная бумага. Гитлер – это всего лишь сконцентрированная ненависть немцев к своему поражению в Первой мировой войне. Но чудовищность Второй Великой Войны заслонила бы собой чудовищность Первой и именно поэтому Гитлер перестал бы существовать как политик. Россию невозможно покорить, но ее можно переустроить на европейский манер. Разве немцы во времена Петра Великого не стали опорой царя?.. И разве следующий правитель России – Екатерина Вторая Великая – не была немкой по крови?

А кто любил Россию больше, чем эта сильная женщина?

Но вы, русские, со своей достоевщиной, донельзя перусложнили человека. Именно поэтому цивилизованный европеец сможет полюбить Россию только пройдя через лютую ненависть к ней... Наивным аборигенам Европы постоянно кажется, что вы – всегда на грани катастрофы. Вы – вот-вот рухнете, а образовавшаяся на месте вашей станы гигантская пустота обрушится на несчастную, лоскутную Европу. И никто не знает, что случится потом, потому что вы говорите: «Не в силе Бог, а в правде». Неужели вы не понимаете, что подобное утверждение может породить новую, еще более страшную войну?.. Ведь вы пытаетесь слить в единую философскую концепцию то, что несопоставимо по своей природе.

Хеске уже с откровенной ненавистью смотрел на русского офицера. У «Майора» слезились глаза от долгой бессонницы, а когда он поднимал их на пленного, в них не было ничего кроме усталости.

«Майор» потянулся всем своим сильным телом и встал. Он отошел к окну и сунул в рот папиросу.

«Странный он, этот Хеске...», – подумал «Майор».

Когда он оглянулся, его взгляд на мгновение столкнулся со взглядом гауптмана. В глазах немца было уже что-то пособачьи жалостливое, тоскливое и просящее.

«Влюбился он в эту Жанну, что ли? – подумал «Майор». – Зачем он о ней вообще рассказал, его же за язык никто не

тянул. Никто бы и не узнал ничего. Да и вообще, психические заболевания в плену – не такая уж редкость. Ишь, как смотрит, словно сострадает о чем-то...»

«Майор» все-таки решился и спросил:

– Вам жалко девушку?

Хеске не стал уточнять какую именно девушку и ответил почти мгновенно:

– Да. И поэтому я буду ненавидеть вас еще больше.

– Почему?

– А что вы дали Жанне?.. Вы сделали из нее фанатичку и послали на смерть. Из нее могла получиться чудесная жена и великолепная мать. Она могла бы жить в отличном доме и просто быть счастливой женщиной... Вместо этого Жанна отправляла на смерть людей. Это противоестественно и в этом нет никакой правды. Солдаты должны воевать с солдатами, а...

«Майор» грузно опустился на стул.

– Врешь ты все, фашистская твоя морда, – перебил он. – Оправдания для себя ищешь. Придет время – найдешь... Будешь сосать свое баварское и врать детям про войну.

– А правду о войне знаете только вы? – ответил с быстрой усмешкой немец. – Вы представляете, что ждет Германию, когда туда хлынут ваши войска?

«Майор» пожал плечами и сухо спросил:

– Боишься, да?

Разговор снова прервался. Каждый из них вдруг подумал

о том, что Жанна, эта, казалась бы, воинственная девушка никогда не подняла руку на немецкого ребенка, защитила от насилия женщину и чем могла помогла старикам. Жанна не умела ненавидеть... Жанна поднимала бойцов из окопов силой своего примера, но в этом примере не было грубого, животного напора. Жанна защищала жизнь и не умела творить смерть. В этом была ее и загадка, а может быть и причина ухода...

И Хеске, опытный и умный солдат, теперь жалел о том, что Жанны нет в живых. Он думал о Германии и сокрушался о своей стране... Если бы немецкому гауптману вдруг задали сейчас неуместный вопрос, мол, как вы думаете, кто, на ваш взгляд, лучше командовал советскими войсками на территории побежденной Германии, товарищ Сталин или Жанна?.. Хеске, наверняка, не думая выкрикнул: «Конечно же Жанна!..» Он ненавидел ее и любил, любил и снова ненавидел. Она была ему чужой, и он с ужасом думал о том, что если бы он родился и вырос в России, то с радостью пошел за этой девушкой. Смерть Жанны в какой-то мере опустошила и его самого, уже порядком запутавшегося в переусложненных русскими истинах.

В конце Хеске сказал:

– Мы, немцы, проиграли войну в России, потому что за три года сами стали немножко русскими. Я помню эти зимние, бесконечные просторы, которые можно увидеть только в России... Наверное, по своему психологическому воздей-



ствию они были сильнее артобстрелов и бомбежек. Что-то со скрипом ломалось в нас, немцах, и мы уже без злости слушали русские песни, которые доносились с той стороны. Недавно мне приснился странный сон: я кричу из русского окопа немецким солдатам, чтобы они сдавались. А рядом со мной стоит Жанна. Не знаю, но там, во сне, я почти любил ее... А ненавидел совсем другое. Мы были с ней в одном окопе, и я был рад этому. Жанна убеждала кого-то по радиации прекратить артобстрел немецких окопов...

«Майор» подавился папиросным дымом и закашлялся.

– Что, в самом деле?!.. – улыбнулся он.

– Ну, если сон – реален, то, как вы выразились, все происходило на «самом деле». Я понимаю, что все это довольно странно, господин офицер, и возможно я просто схожу с ума, но... Знаете, я не жалею об этом.

– О чем?

– Об этом сне.

– Скоро кончится война, – успокоил пленного «Майор». – К тому все идет. И ты это понимаешь. Правда, ты – выжил, а вот Жанна – нет.

Немец опустил глаза и тихо сказал:

– Если вы надеетесь переделать нас, немцев, у вас все равно ничего не получится. А когда кончится война, кончатся и эти проклятые сны...

В его голосе не было злобы, скорее всего в нем снова прозвучало страдание едва ли не смертельно уставшего челове-

ка.

... Жанна так и не была представлена к награде, потому что уже к осени 1944 года погибли почти все, кто ее знал. Было мало документов, а рассказы немецкого гауптмана никто не собирался принимать в расчет. Кроме того, появились новые герои и их было не мало...

Когда «Майор» закончил рассказ о Жанне никто не поспешил с вопросами.

– Она и должна была так уйти, – наконец сказала Надежда Викторовна.

Ее голос прозвучал строго и сухо, как учительский ответ на сложную задачу.

– Как это так?.. – тихо спросил кто-то.

Сухощавое лицо Надежды Викторовны исказила кривая усмешка:

– А так, без фанфар. Это вам, героям-мужикам, нужны залпы и фейерверки. А эта... В общем, Жанна... Она же всех помнила. И тех, кто ее после высадки прикрывал, и деда Тимофея и еще многих и многих... Одним словом, всех. Она смерть словно на две части делила и одну себе брала. Но все-му есть предел.

Надежда Викторовна замолчала, а ее усмешка – к моему ужасу! – вдруг напомнила мне оскал волчицы, защищающей своих волчат.

– На войне я почти так же, как Хеске не любила таких, как Жанна... – ее голос стал глухим и тихим. – Как не крути, а этот проклятый немец во многом прав. И скорее всего прав во всем... Солдат должен воевать с солдатом и воевать как солдат. А вот когда ты видишь горы гражданских героев в военной форме, сунувшихся на войну, то... Тошно это! Тошно и страшно.

У нас в медсанбате девушка была, Аней звали... Красивая... не знаю... как ангел что ли? К ее халату даже кровь не приставала. А еще терпеливая была и буквально двуязычная.

Однажды наши разведчики немецкого пленного притащили. Придушили они его здорово, ну, и, в общем, в себя нужно было немца привести. Полчаса мы с ним возились и все-таки отдышался фриц, глаза открыл. Ребята-разведчики тут же в палатке покурить присели, я какие-то бумаги прямо на коленке подписывала. Аня рядом стояла... Вдруг – выстрел, тихий такой, как хлопок в ладоши. Я не поняла ничего, а потом Аня упала. Разведчики к немцу бросились и руку ему крутят... А в его в руке – пистолет. Героическую смерть решил принять за своего фюрера фашист. Вот только почему он в Аню стрелял, а не в солдат или в меня?..

– Потому что фашист! – убежденно сказал «Майор» – Хеске правильно говорил, их не переделаешь. Кстати, что это за разведчики такие были, почему немца не обыскали?

– Обыскали, конечно, – Надежда Викторовна подперла

щеку ладошкой и на ее лице стала таять пугавшая меня усмешка. – Пистолет совсем крохотный оказался, за голенищем немец его прятал. А наши ребята три дня не спали, у двоих – обморожение, еще двух ночью пули посекали во время слепого пулеметного обстрела. Как выползли с той стороны – один бог знает. Они, кстати говоря, еще раз немцу жизнь спасли, потому что после выстрела в Аню его своими телами прикрыли. Досталось им не слабо, ведь легкораненных вокруг довольно много было. Если бы до немца добрались – на куски его порвали.

– Хорошие разведчики, – улыбнулся «Майор». – Сразу видно, что цену «языку» знают.

На его замечание никто не отреагировал.

Надежда Викторовна немного помолчала, а потом вдруг улыбнулась чистой и светлой улыбкой:

– Знаете, я не удивлюсь, если узнаю, что Хеске, например, захотел, чтобы Жанна после победы всеми нашими войсками в Германии командовала. Не Сталин, а именно она. Мог он такое придумать, честное слово, мог!.. – во взгляде Надежды Викторовны вдруг появилось что-то по-детски озорное. – Вот я бы такое ни за что не придумала, не смогла бы!..

– Не смогли бы, потому что вы – не сумасшедшая, как тот фриц, – сказал кто-то.

– Нет, нет! – вмешался «Майор». – Дело не в сумасшествии того немца. Хеске сказал бы, что, если вы силу и правду рядом поставили, то именно так честнее было бы...

– В каком смысле честнее?

«Майор» пожал плечами. Он выпустил в стол струйку густого дыма, поднял глаза и осмотрел сидящих за столом:

– Честнее, потому что не умещается все это вот тут!.. – он с силой постучал себя ладонью по лбу. – Не умещается, хоть ты убей! И ты вдруг начинаешь думать по-другому. Я эту сволочь Хеске до сих пор забыть не могу. И девочку ту, Жанну... Знаете, что мне Хеске на прощание сказал? Мол, если бы не эти два дурака Гитлер и Сталин, то наши народы могли объединиться и тогда мы покорили весь мир. Он буквально прокричал мне в лицо эти слова – «весь мир». Мол, наши солдаты и наша техника и ваши солдаты и ваша Жанна... Я когда в его сумасшедшие глаза взглянул, сразу понял, что он последнее время только о Жанне и думал. Не мог не думать, иначе бы так и не говорил...

– А смогли бы объединиться наивный как ребенок Николай Чернышевский со своим «Что делать?» и озлобленный гений Фридриха Ницше? – спросил кто-то.

– Вот именно что не смогли, – отрицательно замотал головой «Майор». – А потому все это в моей голове снова и не помещается.

У «Майора» повлажнели глаза. Его лицо стало пьяным и усталым.

– Достаточно! – оборвала Надежда Викторовна и стукнула ладонью по столу. – Я гляжу, вы тут скоро до полного сумасшествия допьетесь. Хватит мечтать, а то у меня самой ско-

ро крыша поедет. Запомните, что советские комсомолки-радистки оккупационными армиями не командуют. Не придумали еще таких войн.

– Может быть, со временем, и такие будут, – сказал кто-то. – Только вместо «Ю-87» на землю будут пикировать черти.

– Отобьемся, – сказал другой гость. – Кто на нашей войне был или хотя бы знает о ней, тот уже ничего не испугается.

... Они выпили еще «за тех, кто не вернулся». И даже Надежда Викторовна – сугубо непьющий человек – прикоснулась губами к краю стакана.

О Жанне больше не говорили... Это был хороший признак. Например, я не забыл о ней до сих пор и может быть, потому что не были сказаны лишние, пустые слова. Ведь все самое главное не всегда не уместается целиком в человеческой голове...

Но разве человек так уж безошибочен?.. Я всегда видел только подвиг в жизни и смерти Жанны. Именно подвиг, как движение вверх, туда, к небу, свету и счастью всех людей. И я даже представить себе не мог, что все можно увидеть совершенно в ином свете.

... Тогда я возвращался из командировки и нашел в купе поезда книжку без обложки. Она лежала не на столе, а на одной из нижних полок, прижимаясь распахнутыми страницами

ми к стене. Она лежала так, словно кто-то с силой отбросил ее от себя. Я был в купе один и в конце концов взял в руки эту книгу. Сначала я просто листал ее, а потом мое внимание привлек текст в виде притчи.

Однажды рано утром к настоятелю монастыря пришел послушник. В его глазах горел свет веры, а красивое лицо сияло праведностью. Юноша сказал, что принял окончательное решение стать монахом. Настоятель благосклонно кивнул и сказал: «Ты принял хорошее решение. Но прежде ответь мне: что самое главное в жизни монаха?» Молодой человек удивился простоте вопроса и ответил, что, мол, это беззаветная любовь к Богу и ближнему. Настоятель снова кивнул и сказал: «Да, это так. Но что ты должен найти прежде?..» Послушник немного подумал и сказал: «Веру, Надежду и Любовь». «И это правильно, – ответил настоятель, – но что ты должен найти чуть раньше?» «Терпение и усердие!» – «Верно. А еще раньше?» – «Доброту и смирение» – «Все точно. Но что еще раньше?»

В конце концов, юноша перечислил все христианские добродетели, но получал в ответ один и тот же вопрос «что ты должен найти раньше?» Расстроенный юноша ушел от настоятеля, а потом и из монастыря. Он был сыном императорского сановника и тот легко нашел ему работу при дворе.

Прошло три года, и юноша все-таки вернулся в монастырь, потому что вера в Бога для него самым важным в жизни была. Однажды поздним вечером он снова пришел к на-

стоятелю, но это был уже другой юноша: после долгого рабочего дня его руки подрагивали от усталости, а на добром и улыбочивом лице уже не светилось вдохновение. Молодой человек сказал, что по-прежнему хочет стать монахом. Настоятель кивнул, пригласил уставшего гостя сесть и строго спросил, что самое главное в жизни монаха. Послушник коротко ответил: «Трезвление». «Почему ты так решил?» – спросил настоятель. «Знаете, – ответил послушник, – император часто приглашал моего отца на свои хмельные пиры, но отец ни разу не пришел на эти пиры уже пьяным...»

К царю, земному или небесному, нужно трезвым приходиться и если уж запьянеешь, то только от его вина. Вот и вся мудрость.

Любой из нас не так уж прост, как это может показаться на первый взгляд. И именно поэтому иногда услышанное, принятое, но еще не понятое до конца не всегда полностью помещается в голове. Но все-таки существует великое таинство медленного – очень медленного! – трезвления. Уже теперь я думаю, что это и был настоящий путь Жанны...



# СОЛДАТ, РАССКАЗ АВШИЙ НЕПРАВДУ...

...Возможно кто-то сочтет этот текст некорректным, такая точка зрения не лишена основания, и я не собираюсь ее оспаривать. Автор рассказывает историю, которая – якобы! – случилась во время Великой Отечественной Войны, но у него нет даже тени доказательств, подтверждающих произошедшее.

Вопрос самому себе: ну, и зачем тебе вдруг стало нужно?.. Детские воспоминания – понятно! – всегда довольно милая штука, но зачем же пересказывать чужую ложь? Почему ты просто не нашел чего-нибудь по-настоящему героического, ведь ты слышал довольно много рассказов о войне?..

Когда-то давно, в начале своего творческого пути я, скажем так, «пытался заниматься юмором». Я нарочно выбрал эту корявую фразу «пытался...», потому что были смешны именно мои попытки, а не результаты труда. Это продолжалось до тех пор, пока я не понял, что юмор – юмор настоящий, а не тот, источник которого находится ниже пояса – всегда трагичен. Трагическая нотка может быть совсем крохотной и легкой как перышко, но она – всегда есть.

Вот один из моих простеньких рассказов в котором кое-

что все-таки получилось.

## ПОЧТИ СВЯТОЙ

... Вокруг быстро темнело. Мишка Прошкин брел домой, тщательно продумывая монолог, с помощью которого ему предстояло оправдываться перед женой. От свободолюбивого мужа пахло дорогим коньяком, женскими духами, а на щеке тлел розовый след губной помады. Настроение у Мишки было самым отвратительным.

Мишка свернул за угол и замер. Рядом с нелегально построенными в тесном дворике гаражами дрались черт и ангел. Испачканный в глине и песке ангел стоял на коленях и с трудом отбивался куском трубы от наседающего черта. Здоровенный черт радостно хохотал, предвкушая скорую победу.

«Ну, ни фиги себе, – подумал Мишка, – наших бьют!»

Мишка подобрал с земли пару кирпичей и, не раздумывая, бросился в драку. Первый удар по голове черта снес врагу рода человеческого половину рога. Лохматый злодей испуганно шархнулся в сторону и перед Мишкой промелькнула жуткая физиономия, чем-то очень напоминающая свиное рыло. Мишка широко размахнулся и ударил вторым кирпичом прямо в глаз черту.

Ангел быстро встал с земли и, перехватив трубу удобнее,

принялся лупить ей обидчика по лохматым бокам.

– Я тебе покажу, зараза, как со спины нападать! – зло кричал ангел. – Сейчас ты у меня вспомнишь свою чертову бабушку!

Загнанный в угол между железными коробками гаражей черт с рычанием метался из стороны в сторону. Несколько раз он попытался взлететь, но каждый раз труба в могучих руках ангела возвращала его на грешную землю. Мишка стоял чуть в стороне и методично бомбардировал злодея увесистыми кирпичами.

Черту удалось выскользнуть из западни только после того, как и ангел и его добровольный помощник порядком устали. В воздухе мелькнули широкие черные крылья, и злодей растворился в темноте.

Ангел бросил трубу, вытер пот и посмотрел на Мишку.

– Проси что хочешь, – с трудом сдерживая бурное дыхание, сказал он. – Все выполню!

Мишка устало махнул рукой.

– Боюсь, мне даже сам черт не поможет, – горько вздохнул свободолюбивый муж.

Ангел внимательно всмотрелся в лицо своего спасителя и улыбнулся.

– Что, брат, проблемы с женщиной? – тихо спросил он.

– С женой, – выражение Мишкиного лица стало совсем кислым. – Понимаешь, я ей вчера слово дал, что с сегодняшнего дня после работы – сразу домой. И сегодня же, как на-

зло, у шефа в кабинете труба парового отопления лопнула. Целых четыре часа провозился.

Миша не врал. После того, как работа была завершена, шеф налил Мише стакан коньяка, а секретарша Лидочка игриво поцеловала его в щеку.

Ангел задумался.

– Плохо дело, – сказал он.

– Да чего уж там!.. – Мишка безнадежно махнул рукой.

Он вздохнул в очередной раз и, сгорбившись, побрел прочь. Небожитель почесал могучей пятерней нимб над головой. Он смотрел вслед своему спасителю, пока тот не скрылся за углом гаража.

Ангел стал на колени и протянул руки к небу.

– Господи, – попросил он, – понимаю, что нельзя, но может быть, хотя бы на один час можно?.. А, Господи? Только на один час!..

Ангел снова почесал нимб.

С неба полетели первые капли дождя...

Еще в прихожей Мишка попытался изложить жене Лене причину своей задержки. Его речь была крайне неубедительна и бессвязна. Но, к удивлению Мишки, жена только мягко улыбалась в ответ и в знак согласия кивала головой. Потом Лена вытерла со щеки мужа чужую губную помаду и нежно поцеловала его в нос.

– Ужинать будешь? – мягко спросила она.

– Буду... – почему-то шепотом согласился пораженный

Мишка.

За столом Мишка снова возобновил свой по-идиотски длинный и запутанный монолог. Лена продолжала ласково улыбаться и не отрывала от лица мужа восхищенного взгляда.

– Ты, наверное, устал, любимый, – в конце концов, перебила она. – Иди, ляг на диван и посмотри футбол. Я приготовлю кое-что на завтра, закончу стирку, вынесу ведро с мусором и приду к тебе.

Мишка чуть было не подавился котлетой. По-прежнему ничего не понимая, он машинально кивнул головой, встал и направился в зал.

Лена смотрела вслед своему мужу восхищенными глазами и была готова заплакать от счастья. Над головой ее непутевого мужа неземным, золотистым светом сиял нимб святого...

\*\*\*\*\*

Легкость трагической нотки в юмористическом рассказе можно сравнить с невесомостью воздуха, которым мы дышим, а видимость с прозрачностью того же воздуха, но разве от этого воздух нам менее нужен?.. И потом, когда мой писательский «юмористический период» был закончен, на смену легким и веселым текстам пришли серьезные, привычка ис-

кать некую трагическую нотку все-таки осталась. В сущности, это было даже не привычкой, а... не знаю... наверное, желанием докопаться до самой-самой сути вещей, что ли?..

...Если честно, то в данный момент я чувствую себя довольно неуютно. Я старательно ищу нужные слова и мне очень трудно находить их. Наверное, именно в этом причина моего многословия, а еще в том, что я поставил перед собой попросту неразрешимую задачу. С другой стороны, я неплохой рассказчик и отлично знаю, что для того, чтобы текст получился интересным, нужно поставить перед собой именно такую задачу – не-раз-ре-ши-му-ю. Для этого я и привел как пример крохотный рассказик «Почти святой». Разве задача ангела помочь своему спасителю и успокоить жену не кажется неразрешимой?.. Кстати, ангелы имеют право показываться людям только в самых экстренных или критических случаях. А случай в рассказе, не смотря на всю свою наивную трагичность – просто бытовой. И пока автор не поймет эту неразрешимость и трагичность все остальное – потом. Потом ты будешь играть в слова и смыслы, будешь отштываешься и приближаться к цели повествования и только потом, найдя нечто парадоксальное, найдешь и решение главной задачи. Это, в общем-то, довольно простой алгоритм писательства, но в «Солдате, рассказавшем неправду» моя задача долго казалась мне и в самом деле по-настоящему нерешаемой...

Снова вернемся к смыслу текста: солдат, прошедший Великую Войну, спустя двадцать три года, рассказывает о ней ложь. Ему никто не верит, потому что ни один человек, даже десятилетний мальчишка, не может согласиться с его неправдой. Рассказчика никто не останавливает. Он говорит быстро, вдохновенно и у него горят глаза. Я видел, как мой отец, который сидел напротив рассказчика, опустил глаза, а мама, которая стояла у двери, вдруг стала рассматривать свои руки. Мои родители были явно смущены. Наверное, солдат понимал, что ему не верят, но и это не остановило его.

А почему не остановило? И не отказывает ли здравый смысл сейчас самому автору, если он снова – уже в который раз! – возвращается к этой теме?

... Мы все знаем, что такое мифы и легенды. Миф не привязан ни к месту действия, ни ко времени, а легенда это, как правило, домысленное реальное событие или действительное лицо, которому приписываются какие-то подвиги. Как они рождаются?.. Кто-то кому-то что-то когда-то рассказал... И нет никакой гарантии, что первый из этих «кто-то» все не выдумал, а второй не преувеличил услышанное. Миф или легенда могут оказаться красивыми, но пустыми. Но услышав их, кто-то только пожмет в ответ плечами, а кто-то, например, как полупрофессиональный археолог Шлиман поедет искать Трои. Кстати говоря, некоторые ученые не без оснований полагают, что древняя Троя легко уместилась бы

на площади равной двум футбольным полям, ведь число ее жителей не превышало шести тысяч человек. То есть, Троя была всего лишь деревней в тысячу дворов, а не могучим городом. Тогда что же описывает Гомер, эпическую войну или драку двух хулиганствующих сельских группировок? Но тогда почему легенда, созданная Гомером, пережила уже почти три тысячелетия?..

Тут хочется спросить: может быть, дело все-таки не в размерах Трои, не в мере правдивости самой легенды, и даже не в том, что именно происходило когда-то с этим небольшим поселком, а в том, что совершалось внутри самого человека? Почему легенда Гомера не умерла и спустя тысячелетия, в нее поверил Шлиман? Позволю себе предположить, что тогда, во времена Гомера, в человеке впервые прорезались зачатки цивилизованности, и они, не смотря на свое внешнее варварство, уже не были случайными. В данном случае я рассматриваю цивилизованность как победу над исторической человеческой немотой. Человек впервые заговорил с богами, боги стояли рядом с ним и отвечали ему...

... Мой отец не воевал в Отечественную. Те, кто родились в 1928 году не были на фронте. Наверное, именно поэтому мой отец любил слушать рассказы о той Великой Войне. Он часто приглашал домой фронтовиков и они – за выпивкой, конечно, – что-то рассказывали ему. Я, восьми-девяти-десяти-одиннадцатилетний мальчишка, вертелся рядом и кое-



что запомнил.

Что меня удивляло больше всего так это то, что фронтовики почти ничего не рассказывали о боях, атаках и о том, как они мужественно отбивали атаки немецких танков швыряя в них связки гранат. Чаще всего эти рассказы были... не знаю, как сказать?... чем-то уж совсем безобидным. Например, я запомнил, как один гость отца долго рассказывал ему о том, как они пробовали прострелить рельс из обычной винтовки. Бронебойная пуля не брала его, крошилась, а простая, пусть и не без труда, пробивала навывлет. Фронтовик рассказывал, как они упорно ставили рельс «на попа», а он почему-то постоянно падал. Он смеялся и говорил о том, как они (двадцатилетние ребята) чуть не подрались, ведь каждый из них точно знал, как именно нужно было поставить рельс так, чтобы он не терял свою устойчивость. Мнения были самые разные и не было ни одного похожего.

Отец спросил, почему они просто не стреляли в лежащий на земле рельс.

Фронтовик смутился. Он многое забыл и все то, что касалось небоевой обстановки (то есть все то, что не несло непосредственной угрозы жизни), его память сохранила только как... снова не знаю... как что-то забавное, что ли? Может быть, именно поэтому многие фронтовики, рассказывая о войне, улыбались... Они упорно находили что-то забавное в, казалось бы, несущественных (явно додуманных только теперь!) бытовых мелочах и – к моему пацанскому возму-

щению – упрямо молчали о своих подвигах. Возможно, врачи-психологи назовут такое свойство человеческой памяти «защитной реакцией психики», а я вижу в этом хотя и похожее, по сути, но все-таки немного другое – стремление живого существа выйти из привнесенного в него извне мира насилия. Особенно сильно это было заметно у тех, кто так и не стал солдатом в полной мере, у тех, кто не огрубел до бесчувствия и чей подвиг – главный подвиг! – был в том, что он преодолевал свой животный страх, а затем нравственный порог. Он вступал на территорию беспощадной войны с иными нравственными законами о которых ему не рассказывали родители и которые он не учил в школе...

Много-много лет спустя, когда я взялся за этот текст, я все-таки нашел ответ на вопрос почему солдаты ставили рельс вертикально. Кое в чем помогла память, а кое-что подсказала простая логика. Ответ примерно такой: рота молодых солдат шла к передовой. Неподалеку от разбитого моста командир объявил привал – саперы еще не закончили строительство понтонной переправы, и переход через реку откладывался на несколько часов. У солдат был спирт – они уже воевали и у них были кое-какие трофеи. Человек десять молодых ребят скрылись от строгих командирских глаз и «дерябнули» по пятьдесят грамм. Больше было нельзя, за большее могли наказать. Потом они нашли рельс, отброшенный от моста взрывом.

Почему они пытались поставить его вертикально? Пото-

му что, если бы рельс лежал на земле, было бы труднее попасть в перемычку между верхом и низом рельса. Если стать слишком далеко от рельса – можно было легко промахнуться, а если слишком близко – линия прицеливания становилась слишком крутой, и пуля попадала бы в рельс не под прямым углом. Кроме того, рельс вероятно изуродовал взрыв, он не сохранил свою прямизну и, лежа на земле, он не представлял собой хорошую цель. А еще мешал снег на земле, ведь шел январь сорок пятого года. Наверное, солдаты пытались прислонить рельс к деревцу, столбу или просто вбить его в землю. Может быть, кто-то, давясь от смеха, предлагал опереть рельс на спину старшины или подбросить его в воздух, как тарелочку для охотничьей стрельбы. Это была игра и ребята просто дурачились... Они смеялись, перестали думать о войне, но это не было нарушением устава, в котором не было ни строчки о стрельбе в рельс. Да, могли налететь немецкие самолеты, но кто-то все-таки наблюдал за воздухом и итог этого налета совсем не зависел от итогов стрельбы по рельсу. Командир роты смотрел на забаву «молодняка» сквозь пальцы, у командиров взводов тоже были свои дела и ребят никто не пытался остановить. Те из солдат, что были постарше, спокойно наблюдали за забавой «молодняка», кто-то ел, кто-то пытался написать письмо домой, а кто-то попросту перематывал портянки.

Война отступила... Она отступила так, как это может произойти только на самой войне – внезапно, без следа и с оглу-

шительной тишиной, в которой жил только мальчишеский смех. Войну не смогли воскресить даже выстрелы по рельсу. Ведь выстрелы были не более чем игрой мальчишек в войну.

... Я хорошо запомнил его – бывшего снайпера. Хотя, мне стыдно признаться, но я почти ничего не помню из его рассказов... Не помню одного – самого последнего рассказа.

Гость был непримечательным человеком с суровым, не улыбочивым лицом. Когда он опирался локтями на стол, его ладони замирали возле лица и только указательный палец правой руки жил какой-то своей, отдельной жизнью. Палец почти всегда указывал на потолок, и я чаще смотрел на него, а не на лицо гостя. Я вдруг как-то особенно остро понимал, что там, за потолком, есть небо, что у неба нет дна и что этой безмерной вечности жизни противостоит не меньшая вечность смерти... Вечность смерти, которую рождает легкое движение пальца снайпера.

Я боялся гостя отца?... Наверное, все-таки, да. Но бессознательно и, скорее даже не самого гостя, а того, что приходило в наш дом вместе с ним. Это был упоительный, почти романтический ужас равный ужасу перед разбушевавшимся океаном.

Однажды гость посмотрел на меня, попытался улыбнуться, подмигнул и спросил:

– Боишься меня, пацан?

Я ответил, что нет.

Гость кивнул. Он отвел глаза, вздохнул, немного подумал и, продолжая разговор с отцом, сказал ему, что из него получился бы хороший автоматчик. Польщенный отец пьяно заулыбался.

– Ты небольшого роста, крепкий и шустрый, – пояснил гость. – Когда рота в атаку шла, словно горсть гороха в сторону немцев швыряли... Только спины и видно было – там, там, там... В общем, перебежками шли. Но если будешь слишком медленно бежать, немцы очухаются и попадешь под минометный обстрел, а если вовремя не заляжешь – срежет немецкий пулемет.

Да, все было именно так – снайпер чаще видел спины своих друзей. Его задачей было выбивать пулеметные гнезда, корректировщиков артиллерийского огня и офицеров.

Наверное, именно тогда я понял главный принцип войны – чтобы выжить солдату нужно бежать на пулемет, потому что сзади за ним гналась смерть от мин. Достигнув окопов, пехота никого не щадила. Люди, преодолевшие страх собственной смерти, словно согревали на своей груди холодную змею, она становилась ручной, теплой, но не менее ядовитой.

Моя мама не любила гостей отца. Молодая, красивая и высокомерная, она входила на кухню распрямив плечи и от этого казалась еще красивее и еще моложе.

– Все, Коля, твоя королева пришла... – с виноватой улыбкой констатировал гость.

Он умолкал и, кивая головой, покорно выслушивал моно-

лог разгневанной женщины. Мама говорила о том, что только дурак может попусту болтать языком о «таких вещах» при ребенке, что «если ты выпил, то и веди себя как положено» и что «какой муж, такие и гости».

Мама никогда не боялась скандала. Я имею в виду те случаи, когда она защищала своих детей или ей казалось, что она защищает их. А бывший снайпер только виновато улыбался ей в ответ...

Теперь о том, последнем рассказе снайпера. Одно время я думал, что он придумал его затем, чтобы доказать маме, что война это... ну, что на войне тоже можно остаться человеком. Но уже теперь я убежден в том, что он придумал его для чего-то совсем другого.

Это случилось во время штурма Кёнигсберга. Бои шли жесточайшие. Однажды в прицел русского снайпера попал мальчишка в немецкой военной форме. Ему было лет пятнадцать-шестнадцать, не больше. Мальчишка словно лежал на ладони (грязной и открытой ладони войны) и снайпер мог легко убить его. Но он пожалел пацана и выстрелил ему в ногу. Через день снайпер был легко ранен в левую руку, его война закончилась, как и бои за Кёнигсберг.

Потом снайпер нашел того немецкого мальчишку среди раненных пленных немцев. Он словно чувствовал, что тот жив и даже когда пленные немцы пытались его убедить в обратном, он не верил им. Солдат понимал, что немцы боятся за жизнь своего сородича. Шла война и возможно рус-

ский солдат со снайперской винтовкой хотел зачем-то отомстить мальчишке, на которого бесчеловечный Гитлер нацепил немецкую форму.

– Тебя же в госпиталь отправили, – сказал отец. – Почему ты с винтовкой ходил?

– Та ведь именная винтовка была, – заулыбался рассказчик. – Мне ее командарм подарил. Да и не в госпитале я обретался, а в нашем лазарете. Рана у меня совсем небольшая была...

Снайпер все-таки нашел раненого юнца. Тот лежал возле самого выхода из подвала, битком набитого ранеными пленными.

Снайпер присел рядом с юнцом и улыбнулся ему. Он показал пальцем на свою винтовку, потом на забинтованную ногу раненого и на себя. Жесты могли значить только одно – «это я тебя ранил». Но немецкий мальчишка вдруг понял гораздо больше – два дня назад русский мог легко убить его, но не стал этого делать. Он понял это, потому что русский добродушно улыбался, а в его глазах не было ненависти. И тогда немецкий мальчика робко и неуверенно улыбнулся в ответ...

Снайпер пришел в гости к раненному не с пустыми руками. Он принес тушенку, хлеб и бутылку молока. Его рота взяла «в плен» корову, которую хозяйственные немцы прятали в одном из бесчисленных подвалов, и командование батальона сочло возможным выделить снайперу, как раненому

герою, целую бутылку. Правда, при условии, что он надоит молоко сам. Конечно же, все солдаты предпочитали спирт, но снайперу было нужно именно молоко.

На «концерт» в виде дойки коровы любовалась целая рота. Снайпер чуть ли не десять минут гладил капризную корову по спине, а стоящие рядом товарищи советовали погладить ее не по спине, а по ляж... то есть ножке или натянуть на головы (себе и корове) фашистские каски. Герой-снайпер краснел от стыда, но терпел. Доить корову мешала рана на левой руке, но он снова терпел. Он вытерпел даже такую шуточку, когда кто-то из солдат, воспользовавшись его сосредоточенностью во время дойки, взял коровий хвост и принялся щекотать им шею «дояра».

– Это она с ним так заигрывает, – пояснил шутник товарищам.

А тот не видел шутника за своей спиной, зябко поводил плечами и ласково просил «немецкую сволочь» не лягаться...

Снайпер как мог обустроил жизнь раненого немецкого мальчишки – ему нашли более удобное место и даже шинель, которой у него до этого не было. Потом снайпер обругал матом немецкого хирурга, когда тот высказал опасения по поводу того, что, мол, рана на ноге мальчика слишком опасна и что... Тут хирург наконец-то решился взглянуть на русского солдата и побледнел от страха. Выслушав нелицеприятные замечания в свой адрес, он снова опустил глаза.



Монолог был произнесен на русском языке, но суть его была бы понятна даже в том случае, если бы солдат высказался на монгольском. Хирург быстро пообещал сделать все возможное, чтобы спасти ногу раненного юнца. Он явно опасался русского снайпера, потому что тот производил впечатление опытного и беспощадного вояки. А такие всегда были опаснее офицеров.

Солдат приходил к раненому четыре дня, до тех пор, пока их роту не отвели с бывшего поля боя. На второй день он принес в импровизированный немецкий госпиталь гораздо больший паек – две буханки хлеба и две банки тушенки. Солдат отлично понимал, что мальчишка не сможет съесть все один, но в этом и был смысл подарка, – увеличенный паек был платой его раненым товарищам за терпимое отношение к юнцу, которого посещает враг и, возможно, за ту небольшую заботу, которую они тоже могли оказать ему.

Небольшая хитрость удалась – немцы, казалось, не обращали внимание на визиты русского солдата. Об этом ему рассказала едва ли не единственная медсестра советской армии в импровизированном немецком госпитале. Девушка отлично говорила по-немецки, у нее были грустные армянские глаза и тоненькая, как стебелек, шея. Она рассказала солдату, что немцы не говорят о раненном мальчишке ни слова. А когда один из них, все-таки счел возможным высказаться по этому поводу, его тут же одернули и спросили, а приносил ли он хлеб и тушёнку какому-нибудь раненному

русскому Ивану зимой сорок первого года. Тот обиделся и замолчал.

На следующий день солдат принес бутылку молока и мед-сестре... Именно эта девушка на четвертый день перевела просьбу немецкого мальчишки передать его матери невесомый серебряный медальон на такой же невесомой цепочке. Женщина жила в Берлине, советским солдатам еще только предстояло штурмовать город, и мальчишка очень боялся за нее. Он рассказал, что у него были два брата, они погибли и, если мать не узнает о том, что он остался жив, она попросту сойдет с ума от тоски. А еще он хотел, чтобы мама нашла его одноклассницу, фото которой было в медальоне. Наверное, им будет легче вдвоем...

Русский снайпер согласился... Это было глупо. Их часть не собирались перебрасывать под Берлин, он был ранен, да и вообще, просто невозможно было найти кого-то во время штурма огромного города. Война не знает пощады ни к солдатам, ни к гражданским людям, она – безбрежна и у нее нет дна. Что мог сделать солдат?.. Обратиться к своим друзьям? А что могли сделать они?.. Ну, разве что найти кого-то еще, кто был чуть-чуть ближе к ненавистному Берлину...

И тем не менее медальон нашел умиравшую от тоски немецкую женщину. Он прошел чуть ли не через десяток солдатских ладошек, нагрудных карманов, его приходилось оттирать от крови, но все-таки во время штурма Берлина он попал на нужную улицу и в нужный дом. Женщина сразу

узнала медальон...

Потом в контратаку пошли эсэсовцы. Русские солдаты обругали немку матом и толкая кулаками в спину, отправили ее в подвал. Они были похожи на зверей, эти русские... Покрытые кирпичной пылью и грязью, возбужденные чуть ли не до безумия близостью смерти, они ни в грош не ставили чужие жизни. Дрожащая от страха немка просидела в подвале больше двух суток... Ей дали хлеба и воды только после того, как позволили выйти наверх. Наверное, старший из офицеров долго рассматривал ее колючими, злыми глазами, но так ничего и не сказал. С ней вообще никто ни о чем не говорил, только однажды девушки-связистки, уже после того, как стихли бои в их районе, попросили показать им медальон. Кажется, о нем уже знали все. Немка очень боялась, что русские девушки отнимут единственную память о сыне и с ужасом смотрела на склонившиеся над ее ладонью милые, розовощекие лица. Девушки не тронули медальон, а одна из них вежливо поблагодарила по-немецки. Потом штаб то ли полка, то ли батальона покинул разрушенное здание, но немку не оставили без присмотра... Ее взяли с собой и еще целых две недели, до пятнадцатого мая, она прожила при полевой кухне. Она мыла котлы, собирала деревянные щепки для походной печки и, как ей казалось, воровала кашу для немецких детей. Потом она поняла, что русские видят ее неумелое «воровство» и просто не обращают на него внимания. Тогда она впервые заплакала, потому что наконец-то

поверила в то, ее не убьют русские, что не нужно воровать, что война все-таки кончилась и что ее сын вернется домой...

Я уже писал о том, что, слушая историю снайпера, мой отец прятал глаза, а мама рассматривала руки.

Когда солдат ушел, мама окликнула отца.

– Что тебе? – не поднимая головы, грубо спросил отец.

Мама подняла руку и повертела пальцем у виска.

– Твой дружок совсем ку-ку, да?

Отец промолчал, а на его покрасневших щеках заходили желваки.

Мама не была на фронте, но она видела снесенный войной почти до основания Воронеж. Она отлично знала, что такое война. Война ненавидит хорошие сказки. Она уничтожает их воем пикирующих бомбардировщиков, артобстрелами, а тем, кому повезло меньше, она доказывает несостоятельность простодушных историй хриплым матом в рукопашных схватках. Война утверждает свою правоту голодом, пронизывающей до костей стужей и мертвой дорогой, проложенной по заснеженному и безмерному русскому полю средней полосы России. Нет, человек не слаб, но однажды в нем просто кончается теплота. Она кончается потому, что всему есть предел и часто этот предел оказывается крепче вымороженной на морозе бронебойной стали.

Отец поднял глаза и какое-то время рассматривал лицо мамы. У него были больные, какие-то обиженные глаза, а

бледные губы на осунувшимся лице кривила усмешка. Отец вдруг закричал о том, что мама хотя и видела войну, но «ни черта не знает о ней». Он кричал о том, что «снайперы – это боги войны», что снайперская засада, это самое страшное, что может случиться с человеком на войне и что даже танковая броня не может спасти от меткого выстрела.

К моему удивлению, мама молчала. Она молчала даже когда отец грохнул кулаком по столу и заявил, что «снайперов одинаково ненавидели и свои, и чужие» и что именно снайперы довели искусство войны до совершенства.

– Но этот человек все-таки смог... – отец оборвал свою последнюю фразу.

Это были чужие, холодные слова, которые были сказаны совсем ни к месту. Я тогда воспринял их именно так.

– Знаешь, Коля, а ведь ты не автоматчик, – сказала мама.

Она всегда умела находить очень неожиданные слова.

– Ты – пулеметчик, потому что слов у тебя много, но вдруг зубы почему-то заклинило, – пояснила мама. – Врал твой друг, понимаешь?... Врал. А теперь иди-ка охладись на веранде, вояка, а я пока со стола уберу.

Отец безропотно встал и вышел. Мама убрала со стола. У нее было хмурое лицо, и я вдруг с удивлением заметил какую-то обиду и на ее лице. Примерно такую же, как и у отца – обиду и недоумение.

Мы были на кухне вдвоем. Тикали ходики. В окно светило густое, приземленное солнце. Мама сердито гремела по-

судой в раковине.

Она вдруг громко и возмущенно сказала:

– Нет, я все понимаю, – война и все такое прочее – но врать-то зачем?!..

Я осторожно сказал:

– А может быть, он не врал?

Мама оглянулась и посмотрела на меня так, словно я только что вошел на кухню.

– Еще один герой-автоматчик нашелся! – пренебрежительно сказала она.

Мама передернула плечами и отвернулась. Даже со спины она была похожа на гордую королеву. После того, как посуда сердито громыхнула десяток раз, мама вдруг сказала странные слова, которые я запомнил на всю свою жизнь:

– Будь моя воля, взяла бы я этих героев, да ремнем по ж... за их придумки!

Я смутился... Но вдруг понял, что физическая боль умирает с солдатом на поле боя, но есть еще другая боль, которая остается на долгие годы с его близкими. Она – почти бессмертна, потому что сопровождает человека долгие-долгие годы.

Время тянулось бесконечно долго. Я не мог уйти, чтобы заняться своими делами. Я не совсем понимал, чего же я жду...

– Сволочь какая, а?! – снова возмутилась мама и вдруг всхлипнула. – Врать-то врал, конечно, но все равно за живое

задел... Зачем?!

Мама все-таки пожалела незнакомую немку и ее сына. Да, она видела войну, она видела все, что принесла война, и от этого было еще больнее. Ведь там, в далеком Кёнигсберге, в апреле 1945 года, немцы стреляли в русских не за тем, чтобы только ранить. Та Великая Война никогда не была игрой в войну. Там не было места сказкам. И все мы отлично понимали, что русский снайпер все-таки убил мальчишку в немецкой форме. За ту секунду, во время которой снайпер решает жить человеку или нет, он может рассмотреть только его экипировку и положение тела, но не лицо человека. И даже если он рассмотрит это лицо у снайпера просто нет времени на гражданскую жалость...

Прошел год, и как-то раз, на рыбалке, отец спросил меня:

– Ты дядю Костю помнишь?

Я спросил, какого дядю Костю?

– Ну, того... Снайпера, – отец долго раскуривал притухнувшую папиросу, не отрывая взгляда от поплавков. – В мае умер... Война догнала. Его то ли тупой осколок, то ли камень в Германии задел. В общем, опухоль в районе позвоночника образовалась. И слишком близко к кости, неоперабельный вариант, что ли?.. Год назад рана ожила, и врачи ничего не смогли сделать.

Я не знал, что ответить.

Отец продолжил:

– Может быть, он потому и про немецкого мальчишку и его мать придумал?.. Ну, понял, что смерть пришла, а потому и мальчишку пожалел. Мол, жаль, что... Понятно, в общем, что жаль. Молодой ведь совсем парнишка был. А медальон Костя, наверное, уже с убитого снял, – отец вздохнул.

Ему было тяжело говорить, и он с трудом находил нужные слова. Чувствовалось, что они не устраивают его... Слова казались слишком обыденными, простыми и совсем не глубокими.

– Жаль его...

– Кого? Дядю Костю?

– Всех... И даже тех гадов в Кёнигсберге. Словно бессмыслица какая-то творилась. А с другой стороны, ну, как иначе-то?!.. – отец сплюнул окурок папиросы в воду и ругнулся. – Я не знаю. Это война, в общем... С одной стороны ты, вроде как должен быть сильным, а с другой... – долгая пауза. – А с другой в чем эта сила?..

Я никогда не страдал от недостатка воображения и перед моим мысленным взором вдруг предстали спины автоматчиков, идущих в атаку.

«Как горсть гороха бросали...».

Среди них – мой отец. Сзади солдат взрываются мины, а впереди строчат пулеметы. Автоматчикам нужно не только выйти из этой смертельной «вилки», но еще ворваться в окопы и уже там уничтожить бешено сопротивляющегося врага.

«Война, в общем...»



Каким нужно быть, чтобы выжить в таком аду? И если бы мой отец был старше всего на один год, то мне – мне, рожденному через много лет после войны – пришлось бы выживать вместе с ним. Осколки и пули догоняли не только тех, кто был на той Великой Войне.

– ... Костя ведь толком и не рассказывал ничего, – продолжал отец. – Так, мелочи всякие и никогда о том, как стрелял, а главное, как... ну, это... как рассматривал через оптический прицел лица тех, в кого стрелял. Разве что, когда выпивал с нами... Только это все уже неправда была... Там даже дурак догадался бы, что неправда.

– Почему неправда? – спросил я.

Отец усмехнулся:

– Потому что слов таких нет. Твоя учительница говорит, что ты сочинения хорошо пишешь. Вот вырастешь и найдешь такие слова. А если не найдешь, тогда новые придумаешь... За нас придумаешь и за нас все расскажешь...

Прошло много-много лет...

Я не придумал новые слова, но у меня есть вопрос: кто есть человек? Если человек только то, что он есть на самом деле, мы должны и имеем право построить рай на земле. Потому что человек – прост. Он – видим и он – понятен. Его стремления – на виду, а его любовь – природна и прагматична. Такому человеку не нужен Бог, потому что Бог никогда не полюбит рай на Земле, построенный человеком.

Но если человек не только то, что он есть на самом деле, но еще и то, кем он хочет стать?.. Пусть он такой всего лишь на один процент, на половину процента или даже только на одну десятую часть этого чертова процента. Что тогда?.. Тогда земной рай обязательно рухнет. Он рухнет, потому что человеку совсем не обязательно хотеть стать хорошим, он может захотеть стать и плохим. Стать им там – в своей потаенной даже от самого себя глубине. И этот выбор будет делать не привнесенная в человека педагогическая логика, а та совсем иная природа, в сторону которой однажды человек делает совсем незаметный шаг. Человек – свободен, он свободен без всякой меры, да и все эти деления на «хороших» и «плохих» – условны и относительны. Люди не делятся на «плюсы» и «минусы», они – просто разные. И это только одна из причин того, что человек и сам толком не знает, кем он хочет стать по-настоящему.

«Быть» и «стать» – разные вещи. Быть это сегодняшний день, а стать – уже завтрашний, который может и не наступить. А на войне?.. Например, разве добропорядочный немец, пришедший с винтовкой в руках на нашу землю, перестал быть добропорядочным?.. Совсем нет. Он мог дать конфетку ребенку и перевязать раненого врага. Цивилизованность не так уж беззащитна, потому что обладает огромной инерцией. Ее не так просто убить и что-то противоположенное ей нужно упрямо выращивать с самого детства.

А что такое это загадочное «то», чем человек хочет

стать?.. На мой взгляд, ему никогда не будет найдено точного определения. Таинственное «то» поднимает человека вверх или рушит вниз. Оно – враг любой цивилизованности, потому цель цивилизации – рай на земле. Но загадочное «то» никогда не примирится с цивилизацией хотя бы потому, что цивилизованность – инертна, а значит бездумна, она поддается законам природы, арифметическому исчислению, а значит и воле человека. Она – как круги от камня на воде. Камень – первопричина волн – давно лежит на дне, а волны бегут к берегу и все дальше удаляются от места падения камня. Между камнем и волнами нет ничего общего. Их природа – несопоставима.

Возможно, загадочное «то» – это причина человека или импульс породивший взрыв его разума. Этой причине много сотен тысяч лет. Она – камень, который давно лежит на дне. Но в какую сторону побегут волны?..

Кто – я?..

Я – все и ничего,

Я – истина и ложь с первоначала,

Я – тот, кто уплывал

И тот, кто на причале

Встречал себя же самого...

Да, я не придумал новых слов, но я нашел одно забытое моим отцом старое. Это слово – покаяние. Русский снайпер

убил немецкого мальчишку с винтовкой, а потом, спустя двадцать три года, вернулся в тот бой и пощадил его. Почему?.. Может быть, потому что впервые понял цену человеческой жизни.

Солдат рассказал неправду?.. Нет, он победил время, он переиначил его, и я уверен, что Бог был рядом с ним. Человеческий век не так длинен, но человек все-таки может победить время. Он может вернуться назад, он может изменить суть своего поступка и, может быть, именно поэтому о людях было сказано «вы – боги». Повторяю, только бог может победить время и, да, мы – боги, потому что мы – пусть и смертные! – все-таки властны над временем. А когда человек понимает это, он начинает иначе относиться к смерти. Он готов положить свою жизнь за жизнь другого человека и именно потому в рассказе снайпера возник невесомый медальон. Ведь донести его до матери мальчишки мог только его друг...

«За други своя!..»

История – никогда не заканчивается. После смерти отца я нашел в его вещах маленький серебряный медальон с полустертой гравировкой на крышке «Bitte erinnere dich an mich». «Пожалуйста, помни меня».

У дяди Кости была только одна дочь, она поссорилась с ним, уехала во Владивосток с мужем и не была на похоронах. Так медальон, который, конечно же, дядя Костя не от-

дал матери убитого мальчишки попал к моему отцу, а потом ко мне. Иногда я рассматриваю фотографию девушки в нем... Она сильно выцвела, но я все еще могу видеть милые девичьи черты. И мне хочется ответить ей: «Ich erinnere mich immer an dich» – «Я всегда помню тебя».

Повторяю третий раз: покаяние – покаяние настоящее, а не визгливое и крикливое – подвластно только богам, ведь только они могут победить время. И дай, Господи, силы ныне живущим дорасти до такого покаяния...

# В НОЧЬ НА ДЕВЯТОЕ...

## 1.

... Наверное, мы все-таки не понимаем смысла той Великой и страшной войны. Нам, говорят, что мы потеряли 20 миллионов человек (я услышал этот рассказ в 1969 году), кто-то называет большие цифры, кто-то меньшие, но мы уже привыкли к ним и, может быть, стоит заставить их звучать как-то иначе? Например, если солдат погиб в возрасте двадцати пяти лет, а мог бы прожить, например, семьдесят пять, сколько лет жизни у него отняли? Пятьдесят. Да, если погибает семидесятилетний старик, казалось бы, он потеряет не так много, но разве один год человеческой жизни имеет какую-то цену? Когда у меня сильно болела дочь, я бы с радостью отдала год своей жизни за ее выздоровление, но я была согласна обменять этот год только на жизнь дочери.

Тут суть в том, что, если мы умножим 20 миллионов на количество потерянных – нет, убитых лет! – жизни, то мы получим цифру около миллиарда. Понимаете?.. Миллиард лет! Разве такая цифра не ужасна сама по себе?.. Какой была жизнь на Земле миллиард лет назад? Только-только начали формироваться многоклеточные организмы, а бактерии

учились вырабатывать кислород. Наша Земля вообще была похожа на ледяной шарик и лежала под толстой коркой льда. Ученые плохо представляют, какой именно тогда была жизнь. Теперь подумайте, неужели такой период времени кому-то может показаться незначительным?..

И вся эта чудовищная, по сути, космическая катастрофа уместилась всего в четыре года Великой войны...

## 2.

... Уже позже девочки шутили, что Муську вынесли с поля боя вместе с ранеными бойцами. Но все, конечно же, было совсем не так. Муська, – страшно худющий котенок-подросток месяцев четырех-шести, – просто вцепилась в ватник на груди Ольки, и та сначала не заметила легковесный комочек. Или она перепутала его с шерстяными варежками, которые запихнула за полу ватника. Наверное, котенок как-то смог подобраться совсем близко, когда наша батальонная красавица Олька, лежа на земле, перевязывала очередного раненого. Шел снег, было уже темно и недавнее поле боя лениво обстреливали немецкие минометы. Наши танки и пехота прорвали первую линию немецкой обороны, и пытаясь разозлить немцев и спровоцировать их на контратаку, растеклись на фланги. Перед нами лежала примерно двухкилометровая полоса «ничейной земли». Она охватывала нас полукругом

и, если бы вперед пошла только одна немецкая рота, нас просто перестреляли. Причем, перестреляли как бы между делом и с глумливыми шуточками. Я попала на фронт осенью сорок второго, но те, кто начинал войну в сорок первом рассказывали нам о таких случаях... Короче говоря, на том заснеженном поле мы, девушки, собирающие раненых, были похожи на стайку глупых грачей, которую вот-вот окружит толпа хулиганистых мальчишек с рогатками.

У нас не было даже маскхалатов... Медсестер и санитарок медсанбата, как правило, не посылали на передовую, но шли страшные бои, два полковых медицинских пункта просто не справлялись со своими задачами. Кстати, когда я вижу военные фильмы, в которых медсестра в юбке перевязывает раненого солдата на поле боя, то... Да, смеяться над этими художествами, наверное, грешно, но и от улыбки удержаться невозможно. А с другой стороны, попробуйте представить себе девятнадцатилетнюю девчонку в солдатском галифе. Эти откровенно мешковатые штаны способны изуродовать даже идеальную женскую фигуру. И там, на заснеженном поле, над нами снова посмеивались солдаты-разведчики. Они выискивали среди раненых немецких офицеров. Как правило, такие «языки» не требовали с их стороны каких-то усилий и могли дать ценные показания. Шла война и каждый из нас делал свою работу.

Кстати, на мужские шуточки над нашей экипировкой особенно сильно злилась Олька... Запыхавшаяся, с бледным и



сердитым лицом, она была похожа на очень красивую ведьму, потому что... Штаны! Безразмерные солдатские штаны, по выражению Ольки, буквально «убивали ее». Они «убивали» ее во время многочасовых дежурств и в операционной, в карауле и даже под минометным обстрелом. У Ольки – единственной среди нас! – была армейская юбка х/б образца 1936 года, но как говаривала главный хирург нашего МСБ Марина Георгиевна Волчанская «женская юбка на корабле и в медсанбате – не к добру». А еще она говорила, что женщина в юбке никогда не распластается на земле даже под лавиной бомб, если сзади стоит особь мужского пола. Короче говоря, «noblesse oblige» (лат. «положение обязывает»). Потом девочки втихомолку посмеивались, что, мол, если бы не галифе Ольки ее, между шуточками, приглашали на свидание не трое разведчиков из пяти, а все десять из десяти.

Наши полуторки стояли посередине огромного, заснеженного поля... Мы несли к ним раненых или помогали идти тем, кто еще мог передвигаться самостоятельно. Олька рассказывала потом, что, когда она попыталась сделать перевязку танкисту с перебитыми ногами что-то маленькое и «шерстяное» на ее груди вдруг ожило и сердито зашипело. Так она, наконец-то, заметила Муську, а еще вдруг поняла, что раненый танкист – немец. Олька позвала разведчиков. Потом она попыталась снять с груди котенка, но тот зашипел еще сильнее и буквально втиснулся внутрь ватника. Через минуту за ее спиной прозвучал выстрел. Олька оглянулась и

один из разведчиков, уже убирая пистолет в кобуру, коротко сказал ей:

– Это рядовой эсэсовец.

Едва мы тронулись в обратный путь, немцы все-таки пошли в контратаку, и я увидела, как сзади загорелась полуторка разведчиков. В общем, даже если Олька и согласилась бы прийти на свидание к какому-нибудь симпатичному солдату, она вряд ли бы его дождалась...

### 3.

... Муська прижилась в нашем МСБ по очень простой причине – она ненавидела немцев. Марина Георгиевна несколько раз пыталась отправить котенка в тыл с очередной машиной, но Муська упрямо возвращалась. То ли руки раненых солдат не могли удержать рвущегося на свободу котенка, то ли Муська понимала, что наш медсанбат – это единственное место на земле, где она может найти еду, ласку и понимание. Однажды, после ее очередного возвращения, Муську попытался погладить раненый немец, почти мальчик, (к нам иногда приводили раненных «языков», представляющих особый интерес для штаба дивизии) но Муська тут же, с ядовитым шипением, оцарапала ему руку.

– Понимает!.. – засмеялась Олька. – Девочки, она же все понимает!

Разумеется, это была только шутка, но к нашему безмерному удивлению, через несколько дней Муська точно так же отнеслась к следующему немцу – рыжему, со слащавой физиономией и огромным синяком под глазом. Тот попытался взять Муську на руки, когда она проскользнула в перевязочную, но котенок тут же буквально взорвался шипением и укусил его за палец.

– У русских даже кошки сумасшедшие, – сказал пострадавшему его товарищ, баюкающий забинтованную руку. – Но Гитлер еще больший сумасшедший, если привел нас в эту страну.

Марина Георгиевна не перестала коситься на котенка, но попытки отправить его в тыл прекратились. Вот так крохотный котенок переупрямил тридцати пятилетнюю женщину со строгим, едва ли не академичным лицом. А вскоре уже вся дивизия знала, что в медсанбате живет котенок, который ненавидит немцев больше, чем любой из нас.

– По запаху Муська их вычисляет, что ли? – ворчала Марина Георгиевна.

– Наверное, да, – соглашалась Олька. – Кошки живут в мире запахов, а немецкое мыло, дезинфектанты, сигареты и даже еда пахнут иначе. А еще там, в поле, деревня была... Ее сожгли и в живых, кажется, никто не остался. Муська могла прийти только оттуда.

Мы, трое подружек, я, Олька и Зоя, всегда держались вместе. Когда Олька – задорная и красивая заводила, – очеред-

ной раз «теряла берега», Зоя – улыбочивая и рассудительная – сдерживала ее, ну, а я была чем-то вроде «передаточного звена» между девчонками. А поэтому мой голос часто был решающим.

Именно Олька придумала ставить блюдечко с молоком для Муськи возле перевязочной. Когда к нам привозили очередных раненных немцев, собиралась целая толпа наших солдат и все со смехом смотрели на очередной «акт кошачьего патриотизма». Муська никогда не ошибалась. Она терпимо относилась к нашим раненым, могла позволить взять себя на руки (правда, не всем), но близость немецкого солдата превращала ее в маленького, свирепого зверя.

После нескольких замечаний Марины Георгиевны Олька чуть поумерила свой пыл, но «акты» все-таки продолжались. Муська быстро стала всеобщей любимицей и когда в медсанбат приезжал командир дивизии, даже он интересовался проделками Муськи. Ну, а та, кроме всего прочего, хорошо отличала большое начальство от всех прочих и когда генерал брал ее на руки, приветливо мурлыкала и всем своим видом давала понять, что ей приятна грубоватая ласка.

– Подхалимка ты, генеральская, – чуть позже вычитывала Муське Марина Георгиевна. – У меня целое море проблем, которые нужно обсудить, а ты с генералом заигрываешь и его от дела отрываешь.

– Нет, Муська все правильно делает, – возражала Олька. – Раскиснет генерал от кошачьей ласки – и берите его теплень-

ким.

– Генералам нельзя быть тепленькими на войне, – говорила Зоя. – Я уже бинты стирать замучалась, а новых дают мало. Кроме того, мыло вот-вот кончится...

Во время таких разговоров Муська посматривала наверх, словно силилась понять, о чем говорит наша «майорша», и терлась о ее ногу.

– Не подлизывайся, пожалуйста! – Марина Георгиевна осторожно отстраняла кошку в сторону.

Строгая, а иногда даже желчная Марина Георгиевна умела производить сильное впечатление не только на раненых и своих подчиненных, но даже на начальство. Муська неохотно подчинялась, но ее все чаще можно было увидеть рядом с командиром МСБ...

#### 4.

... Уже летом очередной наш переезд с одного места дислокации на другое завершился, примерно, такими диалогами.

– Ну, все готово, что ли?..

– Все.

– Шурочкина, а кто в прошлый раз автоклав в кустики поставил и чуть его не забыл? Еще раз спрашиваю, точно все готовы?

– Точно, товарищ командир.

– А Муську взяли?

– Да разве ее забудешь?!..

Муська всегда предчувствовала переезды и заранее занимала свое место. Она вообще многое предчувствовала и даже бомбежки. Ее излюбленным средством передвижения был грузовик, нагруженный матрасами и подушками. А Марина Георгиевна отдавала приказ к началу движения только после того, как заглядывала в этот кузов.

Когда осенью у Муськи появились котята – целых три штучки! – у нее возникла масса проблем, ведь мама-кошка всегда сама «грузила» котят в кузов.

– Да не вертись ты под ногами! – прикрикивала на Муську Марина Георгиевна, когда перед ней проскакивала озабоченная Муська с котенком в зубах. – Зоя, помоги ей, пожалуйста!..

– Она последнего несет, товарищ майор.

– Мне бы Муськины проблемы, – чуть улыбалась Марина Георгиевна. – А то ведь пока вас всех по машинам рассуешь, потом отдохнешь только во время бомбежки.

Муська подпускала к котятам только Марину Георгиевну и Зою. Это немного обижало Ольку, но потом, когда котята подрастали, Муська все-таки разрешала и Ольке подержать на руках крохотного, полуслеплого котенка.

... А Зоя, вообще была удивительным человеком... Она, единственная из нас, не была комсомолкой и носила на груди

маленький крестик. Удивительно, но ее никто и никогда не пытался «распропагандировать», даже наша «комиссарша» старший лейтенант Вика Клюева.

– Зое пачку папирос перед операцией доверять можно, – говорила она. – И из пачки не пропадет ровно половина.

– Зойке хорошо, она не курит, – оправдывалась Олька. – И вообще, она никогда не нервничает, ни под артобстрелом, ни во время операции. А значит ее совсем не тянет к чужим папиросам.

– Зоя еще и не пьет. А, между прочим, кто позавчера с подружками двух выписанных лейтенантов на «пикник» со спиртом пригласил?

– Так ведь всего на часик, Виктория Семеновна! – Олька молитвенно прижимала к груди руки. – И наши девочки к спирту совсем не прикасались. Понимаете, один лейтенантик Наде Кузнецовой предложение сделал... Ну, и не могли же мы отпустить его просто так, без крохотной помолвки.

– Ерунду вы говорите. Лучше с Зои пример берите.

– Зойке хорошо, она замужем и у нее дочка есть.

Такие разговоры обычно заканчивались криком:

– Рядовая Симонова!.. Смирно! Если вы не замужем, не верите в бога, и нервы у вас как у дамочки из кордебалета, это еще не значит, что вам все позволено. Вам даже Муську доверять нельзя.

– Подумаешь!.. – ворчала позже Олька. – Между прочим, это я Муську спасла, а не вы все.

К расстроенной Ольке подходила Зоя. Она тихо смеялась, целовала подругу в щеку и, сев рядом, гладила по голове. А Муська прыгала к Зое на колени.

– Опять к тебе, а не ко мне! – ворчала Оля.

Однажды, когда к нам снова привезли сильно помятых разведчиками «языков», какой-то наш раненый, не дождавшись пока кто-то из немцев захочет погладить Муську, взял кошку в руки и бросил ее на грудь немцу. Муська страшно зашипела и в кровь расцарапал пленному лицо. Но в этот раз никто из находившихся рядом не засмеялся.

Узнав об этом инциденте, Марина Георгиевна накричала на раненного и уже завершая свою гневную отповедь, сказала:

– Будь моя воля, ты пошел бы у меня в штрафбат, живо-дер.

... Зоя погибла в январе 1945 года вблизи Будапешта. Она со старшиной Копеечкой и парой солдат уехала за продуктами и медикаментами и на обратном пути, – всего в ста метрах от нашего медсанбата – их группа нарвалась на выходящих... или, не знаю, как сказать... на выползающих?.. из окружения эсэсовцев. Столкновение вышло неожиданным, чуть ли не нос к носу, и в итоге получилась не столько перестрелка, сколько страшная рукопашная схватка. Зою ударили ножом в живот и после боя ее принес в санбат на руках старшина Копеечка.

Перед операцией Зоя отдала свой крестик Марине Геор-



гиевне.

– Мне все-таки повезло, – сказала Зоя.

– Повезло в чем? – глухо, не глядя ей в глаза, спросила Марина Георгиевна.

– У меня еще есть целых пять минут, и я успею продиктовать письмо дочке. Пожалуйста, возьмите крестик.

– Зюечка, я не верю в бога.

Зоя ничего не сказала, а только слабо улыбнулась...

Она умерла во время операции.

Старшина Копеечка ждал возле хирургической палатки, у него были сухие, какие-то полубезумные глаза и его бил сильный озноб. Он был очень сильным человеком, наш старшина... Если бы не страшная контузия, он продолжал бы служить в дивизионной разведке. Когда на Копеечку накатывали приступы сильнейшей головной боли, он катался по полу и выл, как раненный лев. И никто и никогда не слышал от него жалобных стонов.

– Старшину, конечно, комиссовать можно, но ему идти некуда, – сказал Марине Георгиевне командир дивизии. – Мишка до войны на еврейке женился, а жена с детьми в Бобруйске осталась. Так что, сама понимаешь, теперь возвращаться ему уже не к кому... Ему бы и подлечиться еще не помешает.

– Подлечим, товарищ генерал, – пообещала Марина Георгиевна. – Кстати, охрану медсанбата нужно усилить, товарищ генерал.

– Вот Копеечка этим и займется, – согласился командир дивизии.

Когда после операции Марина Георгиевна вышла из палатки и сунула в рот папиросу, старшина долго, молча рассматривал ее нахмуренное лицо.

– Умерла, – коротко ответила на немой вопрос Марина Георгиевна и словно пытаясь сбежать от такой жуткой темы быстро спросила: – Старшина, среди пленных немцев раненые есть?

Когда главный хирург доставала из кармана пачку папирос, за ее мизинец зацепился шнурок с подаренным Зоей крестиком. Он так и болтался, удерживаясь на пальце каким-то чудом. Старшина какое-то время рассматривал крестик и сказал:

– Нет никаких раненых, Марина Георгиевна... И пленных тоже нет.

... С того времени Муська перестала побаиваться старшину Копеечку. Ведь она сидела и ждала конца операции рядом с ним у хирургической палатки...

## 5.

... На территории Германии Муська дралась со всем немецким: с кошками, собаками, однажды она устроила бой даже со случайной козой, но особенно яростно она охотилась

на птиц. Поскольку к птицам относятся не только воробьи, голуби и вороны, но и курицы, однажды Муська попала именно во время охоты на эту птицу. Немецкому бауэру, еще крепкому мужчине лет сорока пяти, удалось сграбастать Муську. Кошка отчаянно сопротивлялась, и он закутал ее в пиджак. Трудно сказать, чем могло закончиться это неприятное приключение для кошки, но рядом оказались наши солдаты.

Бауэр отказался отдавать солдатам кошку даже когда узнал, что та живет в медсанбате. Он требовал возмещения убытков за убитую курицу. Его так и привели в медсанбат – вместе с укутанной в пиджак Муськой и мертвой птицей.

Марина Георгиевна с холодным безразличием выслушала немца и велела выдать ему три банки тушенки. Потом пришлось перевязывать руки немца – во время схватки Муська пустила в ход не только когти, но и зубы.

Перевязывала немца я и уже позже Марина Георгиевна спросила меня, воевал ли тот немец. Я ответила, что, скорее всего, да, потому что на левом предплечье у него был след пулевого ранения.

– На передовой, значит, был?.. – усмехнулась Марина Георгиевна. – А вы знаете, почему он к нам Муську притащил? Нет, ему не курицы жалко. Он просто нас всех в воровстве обвинить хотел. Мол, пусть воруют даже не сами русские, а их кошки, но все равно все они – воры. А потом они в своих мемуарах об этом писать станут...

Муська отомстила немцу еще раз. Когда он вышел из палатки после перевязки, Муська набросилась на его ноги и, если бы не крепкие армейские сапоги, ему пришлось бы совсем не сладко. Немец так и не решился пустить в ход свой пиджак, который держал в руках, – вокруг была толпа раненых, и они явно сочувствовали кошке. Муську пришлось взять на руки, но она продолжала вырываться и смотрела на немца такими дикими, откровенно звериными глазами, что у Ольки невольно вырвалось:

– Это вам, сволочи, за сожженный хуторок!..

А еще Муська не любила немецких детей. Нет, она не бросалась на них, но, когда немецкий мальчик или девочка тянулись к красивой кошке, она прерывала это движение грозным рычанием. И исключений не было.

В мае 1945 года наш МСБ стоял возле небольшого городка, почти в городской черте и к нам иногда приходила крохотная – лет трех – немецкая девчушка. У нее было очень милое личико, белокурые волосы и пышное (наверное, праздничное) очень грязное платьице. Вне сомнения, она была очень голодна. Но несмотря на то, что была еще очень маленькой, девочка понимала, что именно у нас есть еда.

Крошка очень быстро разобралась в том, что ей не стоит подходить к Муське, хотя первое время сильно тянулась к ней. Она даже смеялась от радости, протягивая к ней руки, но Муська остановила и эту беззащитную малышку. Во вре-

мя своих визитов девочка обходила Муську стороной, оставалась возле какой-нибудь палатки и молча ждала... Она ждала, что к ней подойдут и наконец дадут хлеба.

Примерно через час за девочкой приходила ее мама. Это была молодая, худенькая и крайне перепуганная женщина. Она напряженно озиралась по сторонам, гладила девочку по голове и уводила, прихватив все то, что ей дали – котелок каши, хлеб, немного колбасы или банку тушенки. Мы отлично знали, что у этой немки есть еще дети – мальчишки десяти-двенадцати лет – но они никогда не приходили на территорию МСБ. Они ждали маму неподалеку и у них тоже были испуганные, бледные лица...

## 6.

... Тем вечером старшина Копеечка получил письмо из Новосибирска. Тетка написала, что его младшая дочка Ася осталась жива, что она наконец-то дождалась письма своего папы, что теперь все хорошо и будущей осенью Асенька пойдет в школу.

Оглушенный невероятной новостью старшина смотрел на наши лица так, словно видел их впервые. Уже потом, пытаясь разобраться в этой истории, мы поняли – а точнее, даже почти увидели – как летом 1941 года, в Бобруйске, вслед за уходящим из-под бомбежки эшеленом бежала молодая жен-

щина с тремя детьми. Самую младшую, Асю, она держала на руках. Именно ее женщина и успела протянуть в чьи-то руки. Те приняли девочку и поезд ушел. Жена старшины Копеечки была умной женщиной и опасаясь военной неразберихи положила в карманы детей записки с их именами и тем адресом, куда нужно привести детей, если они потеряются.

Асю не забрали в детдом... Она проехала полстраны и какие-то люди постоянно заботились о ней. Девочку передавали с рук на руки, кормили, искали место для ночлега и однажды в дверь неизвестной квартиры в Новосибирске постучали...

Старшина Копеечка в буквальном смысле потерял дар речи. Он мычал, тыкал пальцем в письмо и в его глазах светился мучительный вопрос: почему я так долго ничего не знал?

– Ну, ты же сам написал тетке совсем недавно, а она не знала твоей полевой почты, – сказала ему Марина Георгиевна. – Вы перед войной с теткой поссорились, наверное?

Старшина на секунду задумался и закивал головой. Мелкие довоенные и бытовые ссоры казались теперь такими крохотными, что о них действительно нелегко было вспомнить.

Старшина обошел со своим письмом весь медсанбат. Да, он все отлично понял, но мучительный вопрос в его глазах не стал меньше. А еще там появилось недоумение и невыразимая боль.

– Марина Георгиевна, он скоро так с ума сойдет, – наконец, не выдержала Оля. – Наш Копеечка похож на внезапно

воскресшего святого, который совсем не надеялся, что его вернут к жизни. Нужно что-то сделать.

– Олечка, я не умею лечить святых, – не без сожаления сказала Марина Георгиевна.

– А вы дайте мне ключик от большого железного ящика, и я вас научу, – хитро заулыбалась Олька.

... Вечером я, Оля и Марина Георгиевна утащили старшину Копеечку на «маленький пикничок». У нас была бутылка спирта, колбаса, хлеб и еще что-то совсем уж немудреное. Чтобы нам никто не мешал, мы устроились неподалеку от МСБ на чудесной полянке, похожей на сцену. Муська, конечно, увязалась за нами, но она не любила открытого огня и бродила неподалеку от нашего костерка, наверное, высматривая птиц.

Еще раз расспросив Ольку какие уколы сегодня она делала старшине Марина Георгиевна лично налила Копеечке полстакана спирта. Тот выпил, сморщился и уткнулся носом в тыльную сторону ладони.

– Мишенька, закуси, пожалуйста...

– Миш, колбаски возьми!

– Миш, да выбрось ты свой «ппш», тут наших постов больше, чем осенью немецких грибов.

Наша болтовня была совсем легкой, спирт – крепким и уже через пять минут старшина несмело улыбнулся. Но у него все так же сильно блестели глаза. Даже спирт не смог его избавить от... не знаю... от близости войны, что ли?

Вскоре я вдруг заметила, что Оля как-то странно замерла. Она смотрела за спину мне и Марине Георгиевне и на ее лице было непонятное выражение то ли ужаса, то ли безмерного удивления.

– Девочки, посмотрите!.. – тихо ахнула она.

Мы оглянулись... В шагах пяти от нас стояла хорошо знакомая нам немецкая девочка в празднично-кукольном платье. На руках она держала нашу Муську. Кошка вела себя спокойно и когда детская ладошка гладила ее по голове, Муська блаженно щурилась.

Оля задержала дыхание и наконец выдохнула:

– Девочки, да ведь война закончилась!..

Вдруг наступила невиданная и великая тишина. Немецкая девочка держала на руках русскую кошку и – да! – мы вдруг поверили, в то, что война закончилась. Потому что Муська никогда не ошибалась в своей непобедимой ненависти.

Но война все-таки ушла... И девочка наконец смогла взять кошку на руки. Я уже говорила, что Муська умела предвидеть очень многое и она первой увидела нашу великую победу.

Потом мы заметили маму девочки. Она снова волновалась за дочку, снова пришла встречать ее и на этот раз с ней были ее мальчишки. Мы позвали их к костру, они сели рядом с нами и ели то, что ели мы...

А потом старшина Копеечка вдруг заплакал. Он закрыл лицо руками, и я видела, как сквозь его пальцы сочится вла-



га... Примерно так же, как сочится кровь из незаживающей раны. Немецкие мальчики смотрели на плачущего русского солдата и когда я хотела положить свою руку на его плечо, Марина Георгиевна остановила меня:

– Пусть поплачет, – глухо сказала она. – Пусть поплачет и тогда, наверное, Мише станет легче. А эти... – Марина Георгиевна кивнула на немку с детьми. – ... А эти, может быть, хоть теперь что-то поймут.

Но немецкие дети не знали русского языка. Они жили в другом мире и не могли увидеть уходящий из-под бомбежки эшелон в Бобруйске и бегущую следом за ним женщину с детьми...

## 7.

... Марину Георгиевну могли бы комиссовать из-за ранения еще осенью 1944 года, после ранения, но она все-таки осталась в действующей армии до конца войны. Удивительно, но в ней не было заметно ничего героического, а если и было что-то такое, что помогло ей пройти через войну, то все было спрятано очень глубоко и... не знаю, как сказать... оно словно было чем-то естественным что ли?.. Ну, как дыхание.

Марина Георгиевна демобилизовалась через неделю после Победы. Я видела, как там, в бане, она срывала с себя форму... А рядом на скамеечке, лежало светлое и воздуш-

ное платье.

– Что ты так смотришь? – улыбнувшись, спросила меня Марина Георгиевна. – Я, наверное, сейчас похожа на змею, которая меняет кожу?

– Что вы, что вы!.. – обиделась я. – При чем тут змея? Вы же очень красивая.

– Это ты меня еще совсем чистой не видела, – засмеялась наша бывшая начальница. – А еще без этого (она кивнула на форму) и в простом платье.

После парилки мы сидели на лавочке в предбаннике, и Ольга рассказывала нам, как вчера она чуть не подралась с Муськой.

– У нашей кошки вообще характер испортился, – доказывала она. – Совсем забыла о дисциплине. Крадет на кухне колбасу и по ночам шляется неизвестно где. Не удивлюсь если узнаю, что она раздает эту колбасу немецким детишкам. На нее прикрикнешь, а она в ответ шипит.

Муська «просочилась» к нам и в баню. Слушая рассказ Ольги, она гордо прохаживалась между тазиками и с самым независимым видом косилась на Ольку.

Марина Георгиевна подозвала Муську. Та охотно прыгнула на лавочку и сунулась головой под ладонь женщины.

– Знаете, девочки, у нас с мужем домик на окраине города есть, – снова улыбаясь заговорила Марина Георгиевна. – Ну, там вишни в цвету, огородик и даже колодец имеется. Как говорится, все бы хорошо, но мне всегда словно не хватало

чего-то... А чего именно понять не могла. И кошек я никогда не любила. Правда, это было до войны. Слушай, Мусенька, может быть, мне тебя не хватало, а?

Марина Георгиевна погладила Муську. Кошка тут же выпрямилась и громко мяукнула.

– Поедешь со мной домой? – спросила Марина Георгиевна.

Муська снова мяукнула и на этот раз дважды.

Мы засмеялись... Мне почему-то врезалась в память именно эта картина: смеющаяся Марина Георгиевна, рядом с ней – Муська, а на колышущейся от смеха груди нашей «майорши» – крестик Зои. Я хотела ее спросить о крестике, но... не смогла ни сформулировать вопрос, ни понять, зачем мне нужно спрашивать о чем-то еще.

На крестик не обратила внимание даже наша «комиссарша» старший лейтенант Вика Клюева. Она пришла в баню чуть позже, в компании с санитарками и, наверное, визжала от радости больше всех. Радость великой победы была огромна, неизбывна и ее хватало на всех.

– Жаль только вода немного соляной по запаху, – сказала Вика. – Но мне разведчики чуть ли не ящик французского одеколона притащили. Слушайте, девушки, теперь я, наверное, буду пахнуть как какой-нибудь французский лавелас, да?

Кто-то из санитарок тут же заметил, что, мол, они все и пошли в баню с Викой только из-за ее манящего запаха.

– А давайте один пузырек на Муську потратим? – предложила Олька.

– Давайте!..

Все тут же с веселыми визгами принялись ловить кошку, и только Марина Георгиевна пыталась защитить ее. В конце концов, Муська снова нашла спасение на ее руках. А чтобы немного успокоить «развоевавшихся» девчонок, нашей кошке все-таки пришлось пару раз грозно пошипеть.

– Спокойно, спокойно, пожалуйста!.. – Марина Георгиевна погладила Муську по голове. – Теперь тебя никто не обидит, ведь война уже кончилась.

– Война кончилась! – радостно закричала Вика. – Девочки, ура!..

Тут же грохнуло такое «ур-р-р-ра-а-а!..», что командирский бас за покрашенным белой краской окном с обидой сказал:

– Товарищи женщины, вы визжите так, словно только что Гитлера поймали. А мы тут, между прочим, маршала Жукова ждем.

– Ура маршалу Жукову! – тут же, давясь смехом, закричала Вика.

– Ура-а-р-р-ра-а-а!..

– А подать сюда маршала Жукова и мы сейчас его во французском одеколоне искупаем! – продолжила Олька.

– Ура-а-а-р-р-ра-а!..

Кем мы были тогда?.. В сущности, только детьми. И да-

же Марина Георгиевна была большой, умной, и все-таки почти девочкой. Но мы сумели пройти через ту страшную войну. А сколько было убегающих от бомбежек поездов и мам пытающихся спасти своих детей?.. Разве такую черную бездну можно приравнять к всего лишь к какому-то миллиарду лет?!..

## 8.

... Знаете, когда возраст человека приближается к пятидесяти он как-то иначе смотрит на свою жизнь. Многие переоценивает, что ли?.. И это очень и очень важно. Я же не даром говорила, что, когда у человека отнимают годы жизни его лишают еще чего-то крайне важного. Это отлично понимаешь, когда смотришь на детей.

Может быть, моя профессия учительницы располагает к некоему философствованию?.. Улыбнусь: может быть, но у каждого времени года есть не только свой цвет и вкус, но и внутренний смысл.

Я уже говорила, что мне врезался в память картинка с Мариной Георгиевной и Муськой... И когда я вспоминаю ее я всегда улыбаюсь. Почему?.. Я не знаю. Но я знаю точно, что человек – существо неумное и ему мало иметь рядом только человека.

Например, как часто человек смотрит себе под ноги? До-

статочно редко и только затем, чтобы не споткнуться. Мимо него пробежит десяток кошек, и он их не заметит. А как часто человек смотрит на небо? Тоже редко и только затем, чтобы узнать будет ли дождь. Да и не увидит он там ничего кроме привычных облаков. Как говорится, жизнь диктует свои законы...

Но этого мало, очень мало!.. Человек значительно больше того воображаемого существа, в которое его часто стараются втиснуть. Да, можно обрезать или изуродовать самому свой человеческий образ, но как, с помощью какого невероятного насилия, можно уменьшить его божье подобие, которое дается уже по праву рождения? Я уверена, что фашизм пытался сделать именно это. Но фашизм не смог справиться даже с кошкой Муськой, потому что ее ненависть ушла вместе с ним. Человек – это удивительное умное существо, просто ему нужно чаще оглядываться по сторонам и замечать очень простые вещи...

... Поэтому человеку нужна и кошка на руках, и крестик на шее.

# ПРОСТО БЫ ЛАВОЙНА...

... Саша Ершов вернулся домой весной 1944 года. Бывший солдат сильно хромал и плохо видел. Он шел по полуразрушенному селу, прижимаясь к левой стороне улицы, и опасливо косился на противоположенную, словно ждал выстрела.

Его мать, тетя Поля, потом говорила, мол, это все контузия... Война не собиралась отпускать солдата просто так. Ее тени таились в темноте придорожных кустов, словно созданных для пулеметных засад и возвращались к Сашке в кошмарных снах.

Но нужно было жить и работать... Уже через пару недель Сашка перекрыл крышу старого дома, поправил полусгнивший свинарник и взялся за покосившийся сарай. Днем он работал, ночью – снова «воевал». Иногда пил, чтобы снять страшное нервное напряжение, но в запой уйти так и не смог – он прерывались жуткой утренней рвотой. А потом снова нужно было работать с трудом удерживая с ослабевших руках топор, молоток или лопату.

Рядом с Сашкой постоянно вертелись дети – малолетние Варенька и Вовка. Жена Сашки Ольга погибла в 1942, когда село стало прифронтовым. Тогда погибли многие, село сильно обезлюдело, но все-таки выжило.

И жизнь потихоньку брала свое... Мать Сашки тетя Поля вдруг зачастила с визитами к своей старой подруге Вере и эти визиты стали длинными, как осенние вечера. Женщины о чем-то таинственно перешёптывались и, часто кивали друг другу, соглашаясь во всем. Житейское дело, сблизившее женщин, было простым и известным всему селу.

Когда-то давно, когда Сашке было не двадцать восемь лет, а всего восемнадцать, он закрутил бурную любовь с дочкой тети Веры Мариной. Их так и называли в селе «Ромео» и «Джувьетта». Потом вышла глупая ссора, – Сашка приревновал свою невесту к другу, но поскольку повода для ревности не было ни капельки, Марина обиделась и отказалась давать какие-либо объяснения. Дальше – больше. Теперь уже Сашка обиделся на то, что Марина не захотела рассказать правду. В свою очередь Марина подняла планку ссоры еще выше и заявила, что Сашка – последний дурак.

Тогда Сашка уехал из села. Вернулся он только через три года, окончив техникум, но не один, а с молодой женой и маленьким сыном. Никто не знал, ждала ли его Марина, но после возвращения Сашки она вышла замуж уже через месяц.

До войны Марина успела родить двойняшек, а зимой сорок первого ее муж сгорел в танке под Москвой. Молодая женщина одела траур и с тех пор ни разу не улыбнулась...

Задумка тети Веры и тети Поли была по-деревенски практичной и ясной как божий день. Сашка – без жены, Марина – без мужа, да еще есть четверо детишек. К тому же любовь



у них раньше была... И не просто была, а... как это?.. все, в общем, почти как в кино было. Даже целовались прилюдно и глаза у обоих от счастья светились. А теперь спрашивается: так в чем же дело?.. Люди войной побиты нещадно, но разве они перестали быть людьми? И семейный воз разве не легче вдвоем тащить?

Сказано – нужно делать. Тем более, что обе мамы бывших влюбленных были не только подругами, а, пусть и не кровными, но все-таки почти сестрами. Сблизила их жизнь и война так, что ближе не бывает...

Но не тут-то было!.. Очень гордой оказалась Марина, да Сашка тоже. Их не то, что на пару шагов друг к другу подвести не удавалось, они вообще на эту тему говорить отказывались. Даже до скандала со стороны мамаш доходило.

Тетя Вера так вообще в свою дочь пару раз горшки швыряла. А тетя Поля три раза в руки грабли брала и совсем не для того, чтобы сено собрать. Эх, сил у пожилых женщин маловато было!.. А то взяли бы они за вихры двух дурней да друг к другу их и притащили. В старые времена, может быть, так и сделали. Потому что работать молодым нужно, детей воспитывать, а не о себе думать.

Но человеческая гордость иногда крепче стали бывает. Даже если человек живет впроголодь, работает по двенадцать часов в день – все равно гордость она на то и гордость, чтобы не поддаваться слабости. Скажет человек «нет» и – все!..

Потом, в дело уже не мамыши вмешались, а самые обычные жизненные обстоятельства. Суть в том, что на выезде из села в сторону близкого Воронежа довольно вредный лог существовал. Весна или осень наступят – он почти непролазным становится. А теперь, когда война отступила, и Воронеж восстанавливать взялись, очень много битого кирпича в нем появилось. Считай весь Воронеж – битый кирпич. Ну, и подал идею председатель колхоза этим кирпичом ложок подравнять. А чтобы подтопления не получилось, по дну лога трубу проложили.

Работы в колхозе много было и решили только после основной на это дорожное строительство народ сзывать. Плата – зерно и мануфактура. Сгрузят машины тонн десять битого кирпича, разровняешь его, вот тебе пуд зерна и два метра ситца.

Желающих немного оказалось. Например, если пуд зерна на десятерых разделить, не так уж много в итоге получится, а от двух метров ситца так и вообще ничего не останется... Но Марина и Сашка на эту внеплановую стройку все-таки пришли. Они вообще за любую работу цеплялись. Сашка потому, что его мать слишком долго одна его детей на себе тащила и ослабела совсем, а Марина, потому что у нее мужа не было... Ей самой все приходилось делать.

Работали из последних сил... На пределе, можно сказать. Когда днем работы полно, к вечеру особенно не развернешься. На упрямстве одном и держались люди. День в такой над-

рывной работе прошел, три дня, неделя... Народу в лог все меньше приходило, а к выходным только трое и осталось: Сашка, Марина да сам председатель колхоза... Только ли много толку от одноногого? От него разве что только одни лозунги можно было услышать о неизбежной победе над фашистами и мудрости товарища Сталина. Впрочем, по деревне слух ходил, что уговорили мамыши председателя, чтобы он их с работы до последнего не отпускал. Мол, может быть, что и сложится у упрямцев...

Когда работу в последний день закончили, Сашка от усталости еле-еле на ногах стоял... Марина – не лучше, а еще у нее от слабости слезы по щекам потекли. Шаг сделаешь, говори спасибо, что не упала.

Стемнело уже... Ложок – за селом, но, когда в село вошли светлее, не стало. У Сашки после контузии зрение-то не очень, а Марине слезы мешают. Короче говоря, один – полуслепой, а вторая – почти незрячая. Рядом они так и шли, чтобы с дороги не сбиться... Молча об этом договорились. Тут уже не до гордости, тут лишь бы до дома дойти.

Сашка зубы сжал и терпит... Молча, конечно. Последние силы бережет. Примерно так же и на фронте бывало: после марш-броска без передышки – в атаку. Командир орет, «Что разлеглись, сволочи?!», а у тебя за спиной пулемет, ленты, гранаты и двадцать пять километров по грязи. И чтобы доказать, что ты не сволочь – нужно встать. Потом немного-

численные пленные немцы говорили, что, если русские без «ура» в атаку идут – это плохой признак. Это значит, что русские смерти бояться перестали...

Вдруг Сашка замечает, что ему вроде бы в проулок повернуть нужно было, чтобы к своему дому идти, а он дальше за Маринкой идет. Приотстал чуть-чуть, но все равно идет. Кольнул Сашкино сердце мужская гордость. Остановился... Постоял немного и повернул к себе домой. Идет – почти ничего не видит... Ну, разве что чуть светится окошко слева, да грязь дорожная в лунном свете блещет. Остановился солдат – совсем ориентировку на местности потерял.

Вдруг слышит Сашка, сзади него кто-то идет. Оглянулась... А это Марина. Голову опустила и идет следом за ним. Остановился Сашка и подождал, пока Марина носом ему в плечо не упрется. Спала она... Или почти спала, потому что устала донельзя.

Постояли немного... Марина в себя пришла, оглянулась по сторонам, на Сашку посмотрела и пошла прочь. То есть в черную, непроглядную темноту. Сашка тоже идти решил, но шаг сделал – поскользнулся. Дождь недавно был, да и новый собирался, а потому такая тьма вокруг властвовала.

Встал Сашка... Пошел... Через десяток шагов на Марину наткнулся – та снова уснула. Понял Сашка, что потерял верный азимут после падения. Постоял он немного. Потом повернулся и в обратном направлении пошел. Марина – следом за ним, потому что, когда человек спит, он скорее дру-

гому поверит, а не себе самому. Как иногда шутил председатель, «у нас в колхозе, товарищи, не стадность, а оптимистический коллективизм».

А потом они уже вместе упали, потому что чуть ли не впритирку друг к другу шли.

Открыла женщина сонные глаза и спрашивает еле слышно:

– Что случилось?..

Сашка улыбнулся и говорит:

– Ничего. Просто мы с тобой друг за дружкой ходим. Пойдем лавочку поищем, отдохнем немного, а то до дома не дойдем.

Посидели немного на лавочке, передохнули... Молча. А о чем говорить, спрашивается? То, что гордость от усталости уснула еще ни о чем не говорит. Порхнет ничего не значащее словцо – все заново начнется.

Встали. Пошли... Причем Сашка опять за Маринкой идет. Вдруг споткнулся солдат, на колени упал.

Марина спрашивает:

– Что там у тебя?

Сашка отвечает:

– Что, что... Дороги не будет. Судьба у нас такая, что ли?

Маринка говорит:

– Это не судьба, а лужа. Пойдем я тебя домой отведу, а то ты ничего не видишь.

Сашка говорит:

– Это прямо немецкое окружение какое-то получается. И до своих, вроде бы близко, а дойти невозможно.

Марина вдруг оседать стала и говорит:

– Все, я больше не могу... Сил нет!

Короче говоря, когда Сашка Марину на руках домой принес, тетя Вера у тети Поли в гостях сидела. Вдруг смотрят женщины, распаивается дверь и в комнату вваливаются два грязнящих босяка.

Тетя Вера первой в себя пришла и кричит Сашке:

– Куда ты ее такую чуню принес в хату?!.. В баню тащи!

Тетя Поля все сразу поняла и – пулей в баню, чуть коленку о табуретку не разбила.

В общем, кое-как согрели баню, раздели молодых и туда их запихнули. А они – хоть и чуть живые от усталости, все равно друг дружки стесняются. На вы друг друга называют. Ну, там типа «Мыло нужно? Возьмите, пожалуйста...» или «У меня еще теплая вода осталась... Вам дать?»

Обе мамыши уши к двери приложили и слушают, мол, что там?!.. А там – ничего. То шайку друг другу молодые люди передают, то мочалку. В бане-то, кстати говоря, темно как в погребе, а в свете комелька что ты там рассмотришь?

Тетя Поля шепчет:

– Да когда же Маринка спинку-то Сашке тереть будет?

Тетя Вера:

– Лучше уж он пусть ей потрет.

Тетя Поля:

– Да слабый он, совсем слабый!..

Тетя Вера:

– Но не старый же совсем... Дело-то житейское, что тут стесняться?

Что ж, дошло и до спинки... Не об стенку же ее тереть. Только заплакала вдруг Марина и говорит:

– Сашка, Сашка, что же ты такой худой, а?.. Одна кожа да кости.

Тетя Поля не без обиды шепчет своей подруге:

– Еще не замужем, а уже критикует.

Тетя Вера говорит:

– Не критикует, а констатирует факт. Давай их спать укладывать, а то баня остынуть начинает и как бы двое этих дохляк там не замерзли.

Спать уложили как детей – хоть и рядом друг с другом, но все равно под разными одеялами. Затем тетя Поля Сашке и Маринке сказку рассказала, пока оба не уснули. Потому как нечего тревожить свои тела желаниями на какие сил-то нет...

... Сорок пять лет вместе прожили Сашка и Марина. Еще четверых детей нарожали. На бедность никогда не жаловались, но и власть никогда не хвалили. И не только власть, но и всю ту гниль, которая возле этой власти обретается, а со временем ей и становится. Жили, в общем, как могли, по совести, и счастливы были до самых последних дней.

Дядя Саша на три года жену пережил. Крепким он был, как разросшийся дуб и таким же суровым.

За его спиной бывало шептались:

– Это он так за Маринкой расцвел и ожил... А с фронта пришел, как хромоногий ледаций петушок по земле ковылял. Да и полуслепой к тому же...

Может быть, это и правда. Трудно человеку жить, когда он один. Да и возможно ли это?.. И человеческая гордость тут совсем ни при чем.



# ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

(детские воспоминания о войне)

... Память странная штука и она может быть такой же пронзительной, как вой немецких пикирующих бомбардировщиков. Прошло уже много лет – почти вся жизнь за плечами – но этот страшный крик войны так и останется со мной до конца. Я не помню начало той бомбардировки, потому что спала, а когда проснулась, первым, что услышала, было то, как по крыше нашего вагона стучат с силой брошенные камни. Их было очень много, они были невидимы и беспощадны. Камни крошили стекла, прошивали тонкие стены и убивали людей. Да, это были пули, а не камни, но я поняла это только тогда, когда услышала вой немецких бомбардировщиков. Осознание пришло как-то сразу, как врываются в пространство звуки через внезапно разбитое окно.

Когда эшелон остановился, тетя Люся крикнула мне, чтобы я прыгала в окно. Откос железнодорожной насыпи был очень крутым и, уже падая вниз, я успела заметить неподалеку от насыпи несколько огромных деревьев с темными, разваливающимися кронами. Они мгновенно выросли из зем-

ли, ширились, захватывая все вокруг и, уже умирая, превращались в грязный дым.

Я долго не могла встать после падения, – меня сбивали с ног другие люди... Все бежали в лес в надежде спрятаться от пуль и бомб. Женщины и дети плакали от страха... Я видела совсем молодую маму, которая прижимала к груди ребенка. У ребенка не было руки, сильно хлестала кровь и весь подол женского платья был мокрым от крови. Женщину, как и меня сбили с ног, она тоже пыталась встать и ее руки были красными от крови ребенка. Она не обращала внимания на толчки в спину и полубезумными глазами смотрела на лес. И даже когда пуля попала ей в спину, женщина, уткнувшись лицом в землю, все равно судорожно пыталась ползти. Я видела ее в течении нескольких секунд, между двумя заходами немецких бомбардировщиков, и, хотя, казалось бы, интервал времени между ними был совсем небольшой, я... не знаю, как сказать... Это было совсем другое время, понимаете?

Мне недавно внук попытался объяснить, что такое компьютерная «оцифровка». Мол, тексты, фотографии, музыка, фильмы, то есть вся-вся информация превращается в поток цифр. Но ведь плотность этого потока может быть очень разная... Тогда, во время бомбардировки, секунды вдруг превратились в часы, время стало огромным, а пространство пожирали взрывы, и оно сжалось до крохотного, обнаженного и незащитного пятка... Наверное, война не бывает другой. Она безмерно увеличивает одно, сжимает в точку дру-

гое и рождает какой-то иной, до боли реальный и до боли изуродованный мир.

После бомбежки многие люди вернулись к эшелону, в том числе и я, но я почти ничего не помню... Я быстро поняла, что полная и пожилая тетя Люся (ей было слегка за сорок) не смогла выбраться из вагона. Наш вагон горел, несколько пожилых мужчин пытались вытащить раненых, но быстро прекратили свои попытки. Все выглядели усталыми, подавленными и только двое мужчин в военной форме пытались что-то объяснить людям. Их почти не слушали...

Потом старый железнодорожник сказал, что станцию, с которой мы выехали всего час назад, уже заняли немецкие танки, что рельсы впереди разбиты и что нам нужно идти «в сторону понтонного моста». Я не знала, где этот мост, я не знала вообще, что такое «понтонный мост», и просто пошла за другими людьми...

Многие бросали вещи, у меня их не было, а в руках я почему-то держала пуховый платок тети Люси. Она говорила, что хочет подарить его маме. Я старалась думать только о маме в Воронеже и гнала мысли о тете Люсе. С какой-то острой детской совестливостью я понимала свою подлость – я словно бросала свою тетю, я отстранялась от нее там, внутри себя самой и мне было до боли стыдно за это предательство. Но чем я могла помочь тете Люсе в этом изуродованном войной мире? У меня просто не было и не могло быть сил поступить иначе.

Уже подходя к лесу, я увидела маленького Мишку... Он шел один. Первый раз я заметила его еще на железнодорожной станции. Все знали, что два дня назад у Мишки убили родителей, что его выбросили из окна горящего вагона, и что – удивительно! – Мишка ни разу не заплакал. Какая-то рыжеволосая женщина сказала, что она врач и она знает, что если ребенок не плачет в подобной ситуации, то это очень плохо. Мишку держала на руках молодая девушка в светлом, очень ярком платье. Она стала спорить с врачом и сказала, что если ребенок не видит непосредственной опасности, то нет ничего плохого в том, что он не плачет. Потом девушка попросила меня принести воды. Но меня остановила тетя Люся: наш эшелон должен был вот-вот тронуться, а до водокачки было далеко...

Мишке вряд ли было больше пяти лет. Я хорошо запомнила его матросский костюмчик и взъерошенные, светлые волосы. Теперь он шел один... Он шел, упрямо наклонив голову и сжав побледневшие губы. Левую руку малыш прижимал к боку, а правой отмахивал в сторону. Так ходят кавалеристы, мой отец был военным, и я хорошо знала это. Наверное, отец Мишки тоже был военным и малыш, как все дети, подражал ему.

Когда нужно было идти быстрее, например, чтобы в очередной раз не отстать от группы людей, движения Мишки делались по-взрослому резкими, а бледные губы становились совсем бескровными. Но малыш все-таки отставал от

взрослых. Колонна людей, уходящих от разбитого эшелона, растягивалась все больше и к полудню она окончательно разбилась на мелкие группы.

Какое-то время Мишка шел рядом с женщиной, ведущей за руки двух перепуганных детей. Но та не обращала на него внимания. Когда мы остановилась на небольшой отдых, женщина накормила своих детей и ничего не дала Мишке. Он стоял рядом и оглядывался по сторонам, как будто искал кого-то... Малыш хмурился, словно обдумывал какую-то трудную задачу. Он не видел ее решения, да, наверное, и не мог видеть, но он и не собирался сдаваться.

Потом я видела Мишку рядом с молоденьким солдатом — он вел его за руку. Солдат сильно хромал, часто оглядывался и постоянно говорил, что вот-вот снова налетят немецкие самолеты. На какое-то время я потеряла Мишку из вида и когда снова увидела его, он уже шел рядом с пожилой женщиной в темной безрукавке. Малыш шел, упрямо наклонив голову и смотрел строго перед собой. Наверное, Мишка сильно страдал, но отец учил его преодолевать любые трудности. Он уже знал, что его родителей больше нет в живых, что он остался один и что он должен уйти от войны как можно дальше. Уйти, чтобы не погибнуть.

И мы шли... Мы прошли лес, вышли на поле и над нами нестерпимо палило солнце.

У меня сильно болела голова и шумело в ушах. Но, как и маленький Мишка, я понимала, что нельзя останавливаться

и нельзя отставать от других.

Во время очередного отдыха женщина в темной безрукавке дала Мишке хлеба, а потом, мельком взглянув на мое лицо, и мне.

Мишка уснул... Я сидела рядом с ним и смотрела, как по его полураскрытой ладони ползают муравьи. Пальцы малыша часто вздрагивали, но муравьи были заняты своими делами и не обращали на это внимания.

...Мы вышли к реке, наверное, около четырех часов дня – солнце уже покинуло зенит, но было еще довольно высоко.

Понтонный мост горел... Он горел ровно посередине и его никто не тушил, потому что пожар был огромным. Рядом с мостом стояли две длинноствольные зенитные пушки с раструбами на стволах и одну из них пытались сдвинуть с места солдаты. Почти у среза воды лежали пятеро убитых девушек-зенитчиц.

Когда мы проходили мимо них, наша «вожатая», женщина в темной безрукавке, перекрестилась и тихо сказала: «Не успели убежать на тот берег, глупенькие...»

Еще пять мертвых девушек лежали рядом со второй пушки, а шестая сидела за прицелом, навалившись на него лицом. Ее руки и руки ее подруг лежали так, словно их боевая работа была прервана внезапно, в течении одной секунды. В отличии от того орудия, которое пытались сдвинуть солдаты, эта пушка была сильно разбита и проходя мимо нее, наша «вожатая» ничего не сказала.

Чуть выше, как раз там, где берег перестает подниматься вверх, мы увидели танк. Он был огромным, как хата и показался мне совсем черным, как обгоревшая головешка. Рядом с танком стояли дети... Командир танка, высунувшись наполовину из люка, что-то кричал тоненькой девушке, стоящей посреди этой группки детей.

Когда мы подошли ближе, я смогла разобрать слова «тут брод в километре...» и «уходите немедленно!..» Девушка прижимала к груди руки, плакала и что-то пыталась объяснить командиру. Она несвязно говорила о немецких самолетах, о том, что ей нечем кормить детей и что у них больше нет сил идти дальше. Эта группа детей не была в нашем эшелоне, она пришла из другого места, но за ними тоже гналась война.

Командир назвал девушку дурой и добавил несколько совсем уж нехороших слов. Он кричал, что вот-вот в атаку пойдут немецкие танки, что у него приказ оборонять «этот проклятый понтонный мост» и что девушке с детьми нужно было подойти раньше, когда был он был еще цел. У командира были тоскливые, больные глаза и какой-то странный, словно изогнутый судорогой, рот.

Я больше не могла стоять на ногах... Я опустилась на землю и закрыла глаза. Нет, я не уснула, а, наверное, просто потеряла сознание от дикой головной боли. В том кошмаре, в который я провалилась, я увидела зеленые «цветы» разрывов и услышала вой немецких пикировщиков. Наверное, я

плакала... Я хотела уйти, спрятаться хоть под землю от этого ада, но война продолжалась и не отпускала меня даже в бреду.

Я не знаю, сколько времени прошло, но в конце концов меня растолкала женщина в черной безрукавке. Я быстро поняла, что идет бой... Черный танк горел и от него, в нашу сторону бежали дети. Мне показалось, что они появляются откуда-то снизу, едва ли не из-под гусениц танка, что малышей очень много, что их одежда похожа на дорогие и праздничные фантики шоколадных конфет и что их вот-вот подхватит и унесет сильный ветер.

Где-то отрывисто и часто стучала автоматическая пушка. Женщина в черной безрукавке крикнула мне, чтобы я уводила детей в сторону брода и спросила, где Мишка. Потом... Я плохо помню, как я оказалась у брода. В памяти остались разве что узкая тропинка, прибрежные заросли осоки и чья-то спина, туго обтянутая гимнастеркой. Со мной были малыши – человек десять-двенадцать – и я не знала, как нам перейти на другую сторону реки. Брод оказался довольно глубоким – не меньше метра – и даже мне, одиннадцатилетней девочке, было бы трудно перейти его.

Я плакала и не знала, что делать... Где-то неподалеку все еще шел бой и я по-прежнему слышала выстрелы автоматической пушки. Потом стали подходить раненные солдаты... Те, кто мог это сделать, брали на руки детей и шли на ту сторону. Я видела командира танка, которого вели под руки



его товарищи... У него была перебинтована голова, а окровавленная повязка закрывала глаза. Когда он услышал, как плачут дети, командир приказал, чтобы его оставили на этом берегу и взяли детей. Его товарищи смогли взять трех малышей.

Наверное, я уходила с последней группой... Солдаты взяли меня, двух оставшихся ребятишек и командира танка. Я уже не слышала выстрелов автоматической пушки и от этого было еще страшнее.

Уже на другом берегу я оглянулась и мне показалось, что я вижу, как к броду идет пожилой солдат с забинтованной рукой, а за вторую его держит маленький Мишка. Солдат сильно хромал, а Мишка часто оглядывался назад... Мне было плохо видно, мешали заросли осоки.

Мы добирались до железнодорожной станции только вечером, провели на ней всю ночь, но я больше не видела маленького Мишку. Уже в поезде мне приснился сон: солдат с забинтованной рукой переходит брод с Мишкой, а сзади, на берегу, хохочут немцы. Этот сон повторялся бесчисленным количеством раз и прекратился только летом сорок седьмого года...

Знаете, я никогда не буду спорить с простой истиной что война – самое чудовищное, что может случиться с людьми. Война не только убивает, она уродует все и вся, она коверкает человеческие судьбы, пространство и время. Для меня она сосредоточилась в двух картинах: в первой от горящего

танка разбегаются дети и во второй, как солдат с забинтованной рукой переходит брод с маленьким Мишкой.

Наверное, мне больше нечего сказать... Да и так ли много я рассказала? Но я не хочу, чтобы память о той Великой Войне ушла вместе со мной. Люди должны это помнить...